

# ГРАНИ

GRANI

# 130

# 1983

---

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

## **ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»**

**к литературной молодежи, к писателям  
и поэтам, к деятелям культуры  
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность опубликовать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag  
Flurscheideweg 15,  
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

**За свободное Творчество! За свободную Россию!**

**Издательство «ПОСЕВ»**



*«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.*

*Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.*

*В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды».*

Е. Романов. «Вместо программной статьи»,  
«Грани» №1, июль, 1946.

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год XXXVII

№ 130

1983

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Н. РУТЫЧ — Февраль 1917	5
А. И. ГУЧКОВ — Письмо ген. Д. В. Филатьеву	12
Н. В. САВИЧ — Воспоминания. Часть III. Февраль	16
А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС — Из воспоминаний о 1917 году	113
Сергей ЛУЧАНИНОВ — Из воспоминаний офицера л-гв. Петроградского полка	157

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Альберт ОПУЛЬСКИЙ — Николай Семенович Лесков	175
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

М. С. БЕРНШТАМ — Марксизм и контроль рождаемости в СССР	226
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Бахрах — На берегах Сены-Леты	259
Влад. Сава — О библиографии века и биографии души	269
Ольга Седакова — О «Бронзовом веке»	274
Мирослав Гроссен — Владимир Солоухин в Цюрихе	279

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

© 1983 by Possev-Verlag  
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main  
Издательство «П о с е в»

## Февраль 1917

Трудно после того, как вышли „Мартовские дни 1917-го г.” Сергея Петровича Мельгунова\* и „Россия 1917-го г.” (Февральская революция) Георгия Михайловича Каткова\*\*, с их всеобъемлющей библиографией, еще раз возвращаться к февральским событиям. И все же — надо. Ибо это был поворотный пункт, вернее — обвал на историческом пути России. Недаром А. И. Солженицын заметил: „О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой легкостью, что этого года не представляют...”\*\*\*

И может быть поэтому такой „беспристрастный”, по словам ген. Врангеля, и в то же время такой наиболее осведомленный участник событий, как Н. В. Савич, счел необходимым предпослать третьей части своих „Воспоминаний”, небольшое, но эмоционально напряженное „Введение”.

Публикуя эту, третью, часть „Воспоминаний” Н. В. Савича (ч. I — см. „Грани” № 127, ч. II — см. „Грани” № 129), мы должны, к сожалению, отметить, что, в отличие от первых двух, она — не была закончена. Обычно очень последовательное изложение фактов, свидетелем которых был Н. В. Савич,

---

\* С. П. М е л ь г у н о в. Мартовские дни 1917-го г. Париж, 1961.

\*\* George K a t k o v. Russia 1917. The February Revolution. London, 1967.

\*\*\*. См. „Вестник РХД” № 139, Париж, 1983, с. 140.

становится отрывочным после апрельского кризиса во Временном Правительстве, когда из его состава вышли Милюков и Гучков. Эта часть обрывается на впечатлениях, вынесенных Н. В. Савичем от Московского Государственного совещания, в августе 1917 г.

Тем не менее, удивительная ясность, с которой автор „Воспоминаний” описывает происходившие вокруг него события, и точность, с которой он передает свои впечатления от встреч с такими, например, своими коллегами по партии октябристов, как А. И. Гучков и М. В. Родзянко, придают этой, третьей, части не меньший, а может быть — даже и больший интерес, чем совершенно законченные воспоминания о Думском периоде.

\*

Изложение событий Савичем хорошо дополняет, как нам кажется, забытая и до сих пор неопубликованная часть воспоминаний Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс. Будучи задолго до революции членом ЦК кадетской партии и лично зная всех ее вождей, она, без претензий заново осветить те или иные события 1917 г., рассказывает, со свойственным ей журналистским талантом, о той атмосфере, в которой жили и действовали в 1917 г. ее близкие друзья, пришедшие к власти. Уже одно описание пасхальной встречи на казенной квартире министра иностранных дел П. Н. Милюкова позволяет судить об отношении к сложившимся государственным традициям, в период Временного Правительства. Как мемуары Савича о 1917 г., так и воспоминания А. В. Тырковой-Вильямс, обрываются на Московском совещании и, к сожалению, ни



тот, ни другая не затрагивают „Корниловских дней”.

Наконец, мы полагаем полезным поместить отрывок из воспоминаний одного из офицеров Лейб.-Гв. Петроградского полка, вполне сохранившего не только свой авторитет, но и командную власть в подразделении, которому в февральские дни было поручено блокировать проход у Нарвских ворот, то есть — не допускать в центр города вооруженные отряды и демонстрации от Путиловского и других заводов. Характерно, что этот офицер, будучи подчинен полковнику Евгению Степановичу Кобылинскому, как известно, назначенному впоследствии ген. Корниловым начальником охраны царской семьи, ни через своего непосредственного начальника, ни каким-либо другим образом не мог добиться связи с командованием Петроградского военного округа.

В дополнение ко всем этим материалам, мы публикуем впервые, пользуясь оригиналом, на наш взгляд — весьма интересное письмо А. И. Гучкова, написанное им в 1931 г., в ответ на просьбу одного из бывших помощников по Военному министерству, в период Временного Правительства, генерал-лейтенанта Дмитрия Владимировича Филатьева. Это письмо было обнаружено нами среди бумаг покойного генерала Д. В. Филатьева, любезно предоставленных нам для печати его наследниками. Генерал Филатьев оставил незаконченные воспоминания о феврале 1917 г. и обширную рукопись о „Катастрофе Белого движения в Сибири”, частично опубликованную по-французски\*.

А. И. Гучков близко знал адмирала Колчака, когда он — будучи молодым офицером Морского

---

\* Revue d'Histoire de la Guerre Mondiale, 1932.

Генерального Штаба — был докладчиком в комиссии Государственной Думы. Естественно, что ген. Филатьев обратился к Гучкову с просьбой дать характеристику адмиралу Колчаку как Верховному правителю, при котором он (Филатьев) служил в Сибири. Выполняя эту просьбу, А. И. Гучков, хотя и попутно, высказывает своему бывшему помощнику по Военному министерству некоторые, на наш взгляд, новые и весьма интересные мысли по поводу планов и намерений его — тогда военного министра, уже успевшего осознать гибельность пути, по которому шло Временное Правительство.

В этом письме А. И. Гучков пишет, что уже вскоре после Февраля он — начал думать о ...,той второй, национальной революции, без которой не могло быть спасения”. Понимая, что эта „национальная революция” не может быть осуществлена без помощи патриотически настроенных и государственно мыслящих военных, А. И. Гучков высказывает мысль о том, что когда он пришел к власти, военных этого типа „я застал на второстепенных постах” и „вытянул” их — наверх; чтобы дать им возможность выполнить свою „высшую миссию”.

Даже если допустить, что в этом письме, написанном 14 лет спустя после событий — в 1931 г., — и звучит нота самооправдания, тем не менее не вызывает сомнения тот факт, что именно при Гучкове были выдвинуты наверх генералы Деникин, Корнилов, Крымов, Марков и ряд других, возглавивших позже Белое движение.

Действительно — нельзя забывать, что, например, ген. Деникина революция застала в должности командира 8-го Армейского корпуса и, будучи вызван Гучковым в Петроград, он, под влиянием генерала

Крымова\*, лично близкого к новому военному министру, согласился принять должность начальника штаба Верховного главнокомандующего, при ген. Алексееве. С этой должности он перешел на пост Главнокомандующего сначала — Западного, а затем — Юго-западного фронтов.

Как ген. Деникин, так и ген. Корнилов занимал до революции относительно скромную должность командира 25-го армейского корпуса до революции. Он был назначен Гучковым на пост командующего Петроградским военным округом, где ему удалось сколотить небольшую, но прочную силу из юнкеров и казаков. Но будучи неудовлетворен этой, тыловой, деятельностью, он сразу ушел, как только освободилось возглавление 8-й армии, совершившей Луцкий прорыв. С должности командующего этой армией ген. Корнилов вскоре заменил ген. Брусилова на посту Главнокомандующего Юго-западным фронтом, а потом стал, как известно, Верховным Главнокомандующим.

Ген. Крымов, как рассказывает ген. Деникин, был сразу вызван Гучковым в Петроград, и военный министр предлагал ему — скромному начальнику Уссурийской конной дивизии — самые высокие должности в армии. Но ген. Крымов, не желая терять связей с войсками и фронтом, принял лишь назначение командиром III-го конного корпуса, который должен был сыграть решающую роль, как в августе, так и в октябре 1917 г. Попутно отметим, что ген. Крымов сдал свою Уссурийскую дивизию — служившему у него и произведенному накануне революции в генерал-майоры Петру Николаевичу Врангелю, вскоре тоже принявшему командова-

---

\* См. Ген. А. И. Д е н и к и н. Очерки Русской смуты. Том первый. Выпуск II. Изд. Паволоцкого. Париж, с. 73.

ние кавалерийским корпусом. Таким образом, А. И. Гучков — косвенно содействовал продвижению и этого, тогда молодого, генерала, занявшего позже исключительное место в русской истории.

Другой молодой генерал — С. Л. Марков — был накануне революции лектором на курсах Академии Генерального Штаба и лишь перед самой революцией занял скромную должность дежурного генерала в штабе 10-й армии. При Гучкове он поднялся на должность второго генерал-квартирмейстера в Ставке, а потом стал начальником штаба Деникина — на Западном и Юго-западном фронтах.

Мы могли бы легко продолжить список генералов и адмиралов, сыгравших большую роль в Белом движении, выдвинутых при военном министре А. И. Гучкове. Конечно, известно, что наряду с этими выдвигениями новый тогда военный министр, предпринял своего рода „чистку” высшего командного состава на фронте, которая, как указывает ген. Деникин, еще больше подорвала дисциплину в армии, и так расшатанной выборными комитетами. Признавая несвоевременность этой чистки, генерал Врангель писал, однако, что „среди уволенных было много людей, недостойных и мало способных... державшихся лишь от того, что имели где-то „руку”...”\*

Но как бы ни относиться к реформам Гучкова в армии, публикуемое нами письмо проливает новый свет на умонастроения и планы военного министра Временного Правительства первых двух месяцев.

А в свете той фальсификации, которая и по сей день продолжается в советской историографии, догматически направляемой как на „неизбежность”

---

\* Ген. П. Н. В р а н г е л ь. Воспоминания. Изд. „Посев”, 1969 (Перепечатано из „Белое дело”), с. 28.

Февральских событий, так и на якобы „неизбежный ход” от Февраля — к Октябрю, что мы отмечали в нашем журнале, еще в 1957 г., мы полагаем, что публикация подлинных документов участников тогдашних событий не может не помочь восстановлению исторической правды о них. Никакой другой цели мы не преследуем и не преследовали — ни теперь, ни тогда, когда в 1957 г., анализируя положение в России в годы, предшествующие февралю 17-го г., мы высказывали убеждение, что „революция в России исторически не была неизбежной”\*.

---

\* Н. Р у т ы ч. Россия и революция в 1917 г. „Грани” № 36, октябрь 1957 г., с. 197.

Глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович,

Вы сняли большую тяжесть с моей души. Мысль, что я нанес Вам большой, м/ожет/ б/ыть/, непоправимый ущерб, если этот экземпляр был единственным, (а о втором, находившемся у М. С., я не знал), очень меня мучила. Очень рад, что Вы так добродушно отнеслись к моей оплошности.

Вы спрашиваете мое мнение по содержанию Ваших воспоминаний о Колчаке. Покойного адмирала я знал давно, задолго до войны, и знал хорошо. Он принадлежал к тому небольшому кружку молодых моряков, при помощи которых патриотическая группа членов Думской Комиссии по Государственной Обороне пыталась воссоздать нашу морскую мощь.

С первых же дней февральской революции я подумал о нем, как о возможной центральной фигуре для той второй национальной революции, без которой не могло быть спасения. У меня была мысль взять его себе в помощники Морского Министерства (фактически в Морские Министры). Отказался я от этой мысли под впечатлением тоже блестящих успехов, которых достиг адмирал в первые же дни в борьбе с развалом черноморского флота, причем эти успехи были личным делом адмирала. Совладает ли он с общим развалом флота, в частности балтийского, было под вопросом. А что черноморский флот, лишенный обаяния личности адмирала, быстро покатится в бездну, было, к сожалению, вне сомнений. Эти соображения и заставили меня отказаться от кандидатуры адм. Колчака и оставить

свой выбор на втором моем, с самого начала, кандидате, адм. М. А. Кедрове. История Колчаковского периода командования черноморским флотом в революционные дни представляет много поучительного и имеет немало аналогий с деятельностью ген. Корнилова в его петербургский период, — уступки во второстепенном и непреклонность в существенном, — так, матросные комитеты были созданы по его инициативе, не ожидая захватных действий снизу, только комитеты он прибрал к рукам.

По мере того, как развивалась революция и все яснее вырисовывалась неизбежность нового военного переворота, будущая роль адмирала, как возглавителя этого движения становилась все ярче.

Среди сухопутных генералов я не знал никого, кто мог бы в этом отношении сравниться с ним. Правда, и требования, которые предъявлялись к вождю национального переворота и к бывшему диктатору, были, можно сказать, недостижимо высоки. Из тех генералов, которых я застал на высоких постах, я считал до некоторой степени подходящим В. И. Гурко (позднее я убедился, что я его переоценивал). Генералов Деникина, Корнилова, Крымова я застал на второстепенных постах и вытянул их наверх, чтобы дать им возможность выполнить свою „высшую“ миссию. Воздержусь пока от оценки моих кандидатов до другого раза.

Жалко, что не знал ближе П. Н. Врангеля, хотя слышал о нем от А. М. Крымова, — он был, как выяснилось впоследствии, как бы создан самою судьбою для той роли, которая его ждала. Но я отвлекся от главной темы, каковой является оценка личности адмирала Колчака и его роли в революционный период и в период белой борьбы.

С появлением адм. Колчака на посту Верховного Правителя у меня лично (да и у многих других,

близко его знавших) были связаны самые светлые ожидания. Ожидания эти не сбылись. В сложном комплексе причин сибирской, а следовательно, и всероссийской катастрофы, и очевидцы и историки пытаются разобраться, размещая их в некотором иерархическом порядке. И мне кажется, что Вы правы, что в числе центральных причин Вы указываете на личность самого адмирала.

Все, что я слышал о нем от людей, близко его наблюдавших за период Верховного Правления, рисует его в таком неожиданном и непонятном для меня свете, что иногда является у меня мысль, да тот ли это Колчак, которого я знал, не подменен ли он? По-видимому, в борьбе с революционным движением в черноморском флоте и во всех последующих переживаниях до момента возглавления им Верховного Правления его организм и физический, и духовный вконец износился, сгорбил. Разбитым, надломленным, потерявшим самообладание, забрался он на ту высоту, /на/ которой как раз и требовались те высокие качества, какими он обладал в предшествующий период. Сохранилось, правда, многое, — его пламенный патриотизм, кристаллическая чистота его побуждений, его рыцарство, его героизм. Но эти качества, рисующие его историческую личность с такой обаятельной стороны, далеко недостаточны, чтобы творить историю, особенно в наше смутное время.

Возможно, что при другом окружении обаятельные качества адмирала были бы использованы для той высокой миссии, которая выпала на его долю. Это окружение Вы знаете лучше меня. Но ведь и в своем окружении он сам повинен. Тяжела была шапка Верховного Правителя, — она была не по силам надломленной натуре. Отсюда печальный эпизод сибирской трагедии.



Вы спрашиваете меня, не согласен ли я посмотреть другую часть Ваших воспоминаний, касающуюся периода Временного Правительства, и делаете при этом некоторые предупреждения. Охотно посмотрю и сообщу Вам свои замечания, особенно, если не будете особенно торопить.

Ретроспективно события получают и более глубокий смысл и более правильное объяснение. К нашему отрицательному опыту присоединился позднее опыт чужих, в частности, германский опыт положительный.

Сравнительный метод в оценке событий напрашивается сам собой.

За сохранение рукописи ручаюсь, — обжегшись на молоке...

Искренне уважающий Вас

*А. Гучков*

## Воспоминания

### Часть III. Февраль

Мои друзья и родные часто упрекают меня за то, что я не записал того, чего свидетелем меня Господь поставил. Особенно сурово упрекают меня, что я не издал воспоминаний и заметок о начале революции в России. Ведь как-никак я был, что называется, в самой гуще событий, ближайшим, если не соучастником, то хотя бы свидетелем происходившего в те страшные дни преступления пред Родиной и Царем, которому мы все в свое время присягали. Я видел, как вспыхнул солдатский бунт, как к начавшемуся движению примазывались элементы, ранее о революции не думавшие или ее боявшиеся, как под различными воздействиями бунт превратился в организованную революцию, пред которой пассивно склонилась историческая власть, и как из общего непротивленства выросло движение, логически приведшее Россию к развалу, к большевизму, к гибели.

Естественно, что многие, которые знают о тех днях понаслышке, упрекают соучастников и свидетелей событий за то, что обстоятельства, предшествовавшие революции, а равно самое развертывание революции, не достаточно полно освещены, что многое остается, да, вероятно, и останется, неясным

---

См.: ч. I. Государственная Дума — „Грани” № 127; ч. II. Государственная Дума накануне и во время войны — „Грани” № 129.

для современников, а может быть, и для истории. То освещение, которое дается записками многих соучастников этой трагедии, по необходимости ведь односторонне, пристрастно, часто умышленно неправильно. Ибо люди, писавшие о страшных днях народного позора и несчастья, в большинстве случаев принимали сами то или иное участие в происшедшем, видели лишь одну сторону медали, переживали события в субъективном освещении, поглощенные страстью политической борьбы, в которой на карту были поставлены порою не только их доброе имя, но и головы.

Публика инстинктивно чувствует неполноту и односторонность даваемого событиям освещения, ищет правды, не мирится с тем, что противоречит ее новым, послебольшевистским, понятиям и представлениям. Она хочет еще и еще проверить правильность опубликованных до сих пор мемуаров, сопоставить показания разных свидетелей страшных событий и из массы иногда противоречивых воспоминаний извлечь зерно истинного представления о происшедшем.

Вот почему так настойчиво и многократно мои близкие настаивали, чтобы я тоже отбросил присущую мне лень и нерешительность и занес бы на бумагу то немногое, что еще сохранила память о первых днях революции.

С тех пор прошло десять лет, многое, очень многое успело уже покрыться дымкой забвения. Слишком много пришлось с тех пор пережить, чтобы претендовать на возможность систематически и протокольно изложить описание событий, свидетелем коих пришлось быть. До сих пор я не хотел этого делать, не хотел здесь, на чужбине, не имея под рукой ни материалов, ни документов, браться за описание первых дней революции. Все как-то надеялся,

что авось большевизм не вечен, что авось это ниспосланное на Русь наказание скоро кончится, что авось скоро можно будет вернуться на родину и тогда, имея под рукой массу материалов, можно будет дать более полное и систематическое изложение революционных событий.

Но время идет, память мало-помалу ослабевает, отдельные факты и образы стираются, воспоминания делаются все более бледными, а большевизм живет, укрепляется и конца ему не предвидится, по крайней мере в ближайшем будущем. И хотя режим этот несомненно обречен, его насильственная гибель неизбежна, неотвратима, но когда она настанет, никто не знает.

Для будущих строителей русской земли, по настоянию моих близких, я решаюсь попытаться занести на бумагу те отрывки воспоминаний о страшных и позорных днях великого предательства Родины, которые еще сохранила моя слабеющая память.

## РУБИКОН

Утром 25 февраля 1917 г. я должен был в составе делегации членов Государственного Совета и Государственной Думы посетить военного министра, ген. Беляева, чтобы просить его освободить с фронта одного нашего земляка, который в силу закона должен был вступить в исполнение обязанностей предводителя дворянства одного из уездов Харьковской губернии. Хотя настроение населения столицы, особенно среди рабочих кварталов, было чрезвычайно тревожное, но утром этого дня идя пешком почти через весь Петроград, я не заметил ничего особенного, улицы были почти пустые, Нев-

ский не был оживлен, городские мирно стояли на своих постах, словом — все как всегда.

У ген. Беляева прием уже начался, пришлось подождать, затем разговор наш с ним продолжался довольно долго. Выйдя от министра, я решил опять идти домой пешком. Подойдя к Невскому, я был поражен, как резко изменился внешний вид проспекта за этот час, который я провел на Мойке. Трогуары были полны народом, который стремился по направлению к Казанскому собору или к городской Думе. Среди публики преобладала молодежь и дамы, все крайне возбужденные, жестикулировали, обменивались громкими отрывочными фразами. Мне было по пути с толпами, и я вмешался в их ряды. С каждым моментом количество публики на Невском увеличивалась, из всех боковых улиц вливались непрерывной струей все новые и новые вереницы людей.

Видимо, по какому-то незримому сигналу народ устремлялся к какой-то определенной точке столицы, к какому-то сборному пункту.

Вскоре я встретил члена Государственного Совета, графа А. Бобринского, который возвращался с Казанской площади. Я его хорошо знал еще по Третьей Думе, потом встречал, когда он был министром Земледелия. Когда-то в разговоре с Шингаревым он сказал фразу: „Знаю, что революция будет, но когда еще она будет...” Теперь, встретив меня, он взволнованно стал рассказывать, что на Казанской площади и у городской Думы громадные толпы народа, настроенного крайне революционно, полицейских властей нигде не видно, улица в руках толпы. „Вот как начинается наша революция”, — закончил свой рассказ гр. Бобринский.

Я был удивлен его растерянным и расстроенным видом, особенно его последними словами.

Попрощавшись я направился к Казанской площади, туда, где, по словам графа, — „начинается революция”.

Подходя к площади, я увидел, что она вся запружена толпой, люди, видимо, сами хорошо не знали, зачем они пришли, что им надлежит делать. Всюду образовывались летучие митинги, всюду о чем-то горячо спорили, везде высказывали импровизированные ораторы, которые произносили зажигательные речи, встречаемые общим одобрением. Полиции, властей не было видно, проследовать чрез эти разрозненные толпы не представляло труда. Первого стража порядка, представителя предержавной власти, я встретил на углу Михайловской улицы в лице стоящего около тротуара верхового казака. По-видимому, это был казак третьей очереди, уже пожилой, с проседью в длинной бороде. Он сидел на маленькой сивой лошаденке, помахивал длинной нагайкой и добродушно пересмеивался с толпой, которая его окружила тесным кольцом, мирно с ним о чем-то разговаривала. Между этим стражем порядка и толпой, протестующей против этого порядка, была уже установлена моральная связь, первый признак братания вооруженной силы с бунтующим народом.

Домой я дошел благополучно, никаких других воспоминаний об этом дне не сохранилось в моей памяти, очевидно не было ничего, что бы резко поразило мое воображение, отпечаталось в моем сознании.

Вечером я получил записку от Н. Н. Покровского, тогда министра иностранных дел. Он просил завтра утром прибыть в Зимний Дворец, где он жил, для какого-то важного разговора по поводу текущих событий.

Утром 26 февраля трамваи уже не ходили, добраться на извозчике по запруженным улицам было трудно, решил опять идти пешком. В этот день улицы имели уже совсем иной вид. Как только я свернул с тихого Стремянного переулка на Владимирскую, дорогу мне загородили солдаты. Перекресток Невского, Литейного и Владимирского занимал сильный пехотный отряд с двумя офицерами во главе. Солдаты направляли пулеметы на Литейный, никого не подпускали на почтительное расстояние от угла.

Меня остановили, потребовали пропуска. Я обратился к офицеру, назвал себя, показал письмо министра, вызывавшее меня в Зимний Дворец. Он посоветовал мне идти боковыми улицами до Фонтанки, вдоль реки пересечь Невский и следовать далее по боковым улицам, т. к. на Невском меня будут поминутно останавливать, причем легко попасть в передрагу. Я так и сделал.

У Покровского я застал А. А. Риттиха, министра Земледелия и Государственных Имуществ. Оба министра были в крайне подавленном состоянии, смущены и перепуганы всем происходящим. Покровский сообщил, что беспорядки приняли открыто революционный характер, особенно агрессивно была настроена рабочая среда, многие сотни тысяч людей, занятых в предприятиях, работавших на оборону. Там революционная пропаганда делала громадные успехи, движение, до сих пор скрывавшееся в тени, вышло на улицу, проявлялось в открытом возмущении против власти, против ее распоряжений.

Но хуже всего было то, что оба министра, видимо, начали сомневаться в надежности той воинской силы, которую правительство имело в столице.

Министры с негодованием говорили о беспомощности, растерянности и безволии высшего команд-

ного состава в Петрограде, особенно ген. Хабалова, в руки коего переходила теперь ответственность за поддержание порядка в столице.

Вчера, например, военное начальство выслало войска против толпы, с которой полиция якобы не могла справиться. Части эти, как и весь почти петроградский гарнизон, состояли из недавно призванных ополченцев второго разряда, мало обученных, плохо дисциплинированных, сильно затронутых революционной пропагандой. Этих людей оставили бездеятельными свидетелями народных волнений, безуспешной борьбы полиции с бунтарями. Офицерский состав, в большинстве скоропалительно испеченные прапорщики, не имел никаких определенных инструкций, оставался пассивным зрителем бездействия военной силы и ее братания с волнующимся населением. Это было самым верным средством разложить эти части, лишить власть возможности опереться в случае нужды на воинские силы.

Так же растерянность и бездействие царили в Министерстве внутренних дел. Протопопов совершенно растерялся, его болезненное состояние вывилось с полной очевидностью. В грозную минуту, когда каждая минута была дорога, когда надо было действовать быстро и решительно, он мог только кататься в сплошной истерике.

Словом, министры нарисовали ужасающую картину. В сущности в минуту начавшегося революционного выступления низов власти в столице фактически не существовало, не было управляющего центра, который мог бы быстро и решительно принять необходимые меры, отдать разумные распоряжения.

Дошло до того, что в ночь на 26-е февраля казармы посещались какими-то агитаторами, которые назвались членами Государственной Думы, произ-



носили зажигательные речи, убеждали солдат не поднимать оружия против их братьев-рабочих, помочь последним сбросить ненавистную власть.

Министры не знали, действительно ли то были члены Думы или самозванцы, но их более всего возмущало то, что военное начальство, зная об этом, не предприняло ничего, чтобы арестовать и предать полковому суду этих агитаторов, если бы даже оказалось, что это действительно депутаты. Ведь мы тогда были во время войны, Петроград мог быть объявлен в любой момент на военном положении, да он в сущности и был в таком состоянии. Ведь на улицах шел открытый бунт.

Закончив обзор этого безнадежного положения, министры сообщили о причинах, заставивших их меня вызвать.

Они признавали, что момент настолько грозен, что медлить более нельзя, время полумер прошло. Надо признать, что стоявшее у власти министерство не годится, по своему личному составу оно не сможет справиться с событиями. У него нет необходимого авторитета в стране и армии, в его среде нет лица, которое бы могло решительно взять в руки дело подавления движения, обладало бы достаточной энергией для успокоения разбушевавшейся стихии. Поэтому единственным выходом им казалось немедленное формирование ответственного пред Государственной Думой министерства, передача власти правительству, вышедшему из состава законодательных палат, которое бы могло рассчитывать на моральную поддержку страны и армии, которому бы поверили народные массы, которое, наконец, могло бы выдвинуть из своей среды лиц, имевших достаточную энергию и силу воли, чтобы справиться с революционными настроениями внутри и дать тем возможность продолжать войну. По-

видимому, они уже говорили об этом кое с кем из думцев, в том числе даже с кадетами. Теперь они хотели знать мое мнение, пощупать почву о возможном личном составе ответственного пред Думой министерства.

Я ответил, что вполне разделяю их точку зрения, но боюсь только, что решение придет слишком поздно. О возможном составе такого министерства я ничего не ответил, ограничился указанием, что бюро Прогрессивного блока так сработалось за последние годы, что ему будет нетрудно составить подходящий список кандидатов, лишь бы Государь дал согласие на этот исход. В последнем я видел главное затруднение для благоприятного решения вопроса. Теперь каждая минута дорога, а если Государь будет колебаться, оттягивать решение, то могут произойти события, которые сделают предложенное решение невозможным.

Дело министров убедить Государя, заставить его поручить составление министерства кому-либо из думцев.

Затем министры сказали, что пока это решение не принято, пока власть находится в руках правительства нынешнего состава, оно должно приложить все силы для поддержания порядка в столице. Поэтому сегодня будут даны строгие приказания разгонять толпы хотя бы силою оружия, хотя бы пришлось стрелять в бунтующий народ.

На этом мы простились.

В Думе я застал большое волнение. Но еще никто ничего не знал точно, передавали лишь разнообразные слухи. Было лишь ясно одно, что недостаток хлеба, якобы вызвавший выход народа на улицу, был лишь предлогом, что вопрос стоит гораздо глубже, что это начало революционного движения,

попытка начать открытую борьбу. Все были очень смущены, но надежда на благоприятный исход еще не была потеряна, особенно в силу наметившегося среди самого правительства течения пойти на уступки общественному мнению. Мы близоруко считали, что Дума есть тот политический центр страны, к которому все устремляется, что она является тем нервным узлом, который управляет умственным движением страны. Мы смешивали общественное мнение верхов социальной лестницы с глубинными движениями в толще народной. Мы думали, что народное движение направлено только против Протопопова, Императрицы и ее окружения, в крайнем случае против Николая II. Поэтому среди нас нельзя было услышать правильной оценки положения, думцы переоценивали свои силы, свое влияние. Весь день мы провели в большом волнении, страхи за завтрашний день сменялись надеждами на лучшее будущее.

Поздно вечером, когда мы продолжали еще сидеть в обширном кабинете председателя Государственной Думы в ожидании очередных новостей, затрещал звонок телефона.

Родзянко тотчас взял трубку и долго слушал то, что ему сообщали.

Затем он молча повесил трубку, подошел к нам с лицом, изменившимся от внутреннего волнения. Прерывающимся голосом он нам поведал только что им услышанное.

Оказалось следующее:

Весь день шли волнения, улица приняла явно революционный вид. Толпы народа не подчинялись приказам властей, их приходилось разгонять силою оружия. Была стрельба в народ, много убитых и раненых, есть жертвы и среди полиции.

Но хуже всего было следующее.

Когда вернулся в казармы Павловский запасной батальон, частям которого пришлось стрелять в толпу, то в одной из рот произошло невероятное событие. Ротный командир был убит пред фронтом в самом помещении полка, причем солдаты скрыли убийцу. Это было уже прямым бунтом. Пришлось вызвать части другого полка, которые арестовали всю роту, отправили ее под арест в крепость.

Волнение в казармах было страшное, растерянность властей полная. Так началось выступление петроградского гарнизона. Жребий был брошен. Рубикон перейден.

Печальной памяти день 27-го февраля 1917 года.

Рано утром, я был еще в постели, затрещал телефон. Член Государственной Думы Стемпковский спешил передать мне, что в Волынском полку происходит что-то необычайное. Он из окна своего кабинета может видеть внутренность двора казарм этого полка и ему кажется, что там началось открытое восстание солдат против командного состава. Слышны были выстрелы, мятежные крики, наблюдается необычное возбуждение нижних чинов, которые явно митингуют.

Я поспешил одеться. Через короткое время опять зазвонил телефон. На этот раз мне передавали из Думы, что Родзянко просит меня немедленно приехать туда, что получен указ с роспуском Думы и в городе начались чрезвычайные события. Родзянко выслал за мной свой автомобиль и через 15 минут я был уже в Таврическом Дворце, который походил на потревоженный муравейник.

Тяжелая, мрачная атмосфера царила в кулуарах. Растерянные, взволнованные, перепуганные депутаты сновали без дела по залам и комиссиям по-

мещениям, от которых как-то сразу отлетела привычная жизнь законодательного учреждения.

Я нашел Родзянко в его роскошном кабинете. Он был взволнован и встревожен. Молча протянул он мне указ о роспуске Государственной Думы. На мой вопрос, что же собственно происходит, он ответил, что утром, когда был выстроен Волынский полк, — вернее, резервный батальон этого полка — пред строем одной из рот унтер выстрелом из винтовки убил ротного командира. Этот выстрел был сигналом к открытому восстанию солдат против командного состава. В несколько минут полк превратился в бунтующую банду, которая под водительством восставших унтеров вышла на улицу, направляясь к казармам других частей с целью привлечь солдатскую массу на сторону восставших.

Пока что нигде и никто не оказывает ни малейшего сопротивления восставшим, благодаря этому движение быстро разрастается. И в эту тревожную минуту правительство нашло нужным объявить указ о роспуске Думы.

Родзянко был совершенно сбит с толку, не знал, что ему надо делать, на что решиться. Он только что послал срочную телеграмму Государю, требуя немедленного решения, назначения ответственного министерства и указывая, что каждая минута дорога.

Вскоре произошло чрезвычайное событие.

К Таврическому Дворцу подошла большая группа солдат, принадлежавших в большинстве к нестроевой роте одного из гвардейских резервных полков. Этой толпой командовал какой-то субъект в штатском. Она вошла во двор и ее делегаты проникли в караульное помещение Дворца, где в тот день несла караул рота ополченцев под командой прапорщика запаса. Последний вместо того, чтобы

отдать приказ силою не допускать восставших во Дворец, вступил в переговоры с субъектом, командовавшим мятежниками. Последний не долго вел переговоры, он внезапно выхватил револьвер и выстрелил в живот несчастного прапорщика. Тот упал и вскоре умер в думской амбулатории. Его рота немедленно сдалась восставшим. Таким образом Дума была фактически захвачена восставшими в самом начале движения.

После этого всюду появились какие-то новые незнакомые личности, не то журналисты, не то революционеры, не то просто охранники.

Вскоре произошел инцидент, имевший некоторое влияние на развитие событий. При том хаосе, который водворился после захвата помещения Думы революционными солдатами, кабинет председателя Думы стал центром, куда все стремились: одни, чтобы узнать о происходящем, другие, чтобы сообщить последние новости, третьи, чтобы получить какие-либо инструкции. Словом, там было столпотворение вавилонское. Указ о роспуске и телеграмма Родзянко к Государю лежали на столе. Вдруг, когда хватились этих документов, оказалось, что телеграмма Родзянко исчезла. Все поиски были напрасны, было ясно, что кто-то ее унес. Прошло несколько времени, и телеграмма опять оказалась на своем месте. Но в вечерней газете ее текст появился полностью. Было ясно, что это проделка одного из журналистов.

Наконец Родзянко собрал совет старейшин, т. е. представителей партий. После долгих разговоров решили созвать в полуциркульном зале частное совещание наличных членов Думы, чтобы обсудить положение и наметить какой-либо план действий. На это совещание собрались члены Думы всех партий, не было видно только крайних правых, кои

уже попрятались на всякий случай. На совещании было решено избрать из представителей всех партий особый комитет, в состав коего по должности должны были войти все члены президиума Думы. Им было поручено посетить председателя Совета Министров с целью убедить его в том, что чрезвычайные события требуют быстрых и радикальных решений, именно, по мнению большинства, только немедленное образование ответственного пред Думой министерства могло бы ввести в законное русло разраставшееся движение.

Немедленно выбрали комитет, который впоследствии получил наименование Временного Комитета Государственной Думы.

Когда происходило это совещание, В. К. Михаил Александрович вызвал к телефону председателя Думы и имел с ним длинный разговор. Поэтому совещание поручило своему комитету постараться повидать Великого Князя и уговорить его поддержать шаги думской делегации пред Государем. Самое совещание было очень бурным. Левые элементы требовали заявления о том, что Дума не признает указа о роспуске. Они предлагали перейти в зал общих собраний и объявить о продолжении деятельности Думы. Были голоса, которые требовали, чтобы Дума встала открыто во главе начавшегося революционного движения, объявила бы себя учредительным собранием.

Эти требования встретили решительный отпор не только со стороны умеренных, но и многих кадетов. В частности, Милюков поддержал развивавшуюся мною точку зрения о том, что нам сходить с лояльного, закономерного пути невозможно. Большинство с нашей точкой зрения согласилось и дальнейшее ведение переговоров передало Комитету.

По окончании совещания Временный Комитет решил поручить предварительные переговоры с Великим Князем и кн. Голицыным президиуму Думы, т. е. Родзянко, Некрасову и Дмитрюкову. В последний момент, когда уже подан был автомобиль, Родзянко стал настаивать, чтобы с ним ехал и я, — вероятно, потому, что в числе членов Временного Комитета не было официального представителя нашей фракции, т. к. Родзянко и Дмитрюков входили в его состав как члены президиума. Большинство Временного Комитета не возражало, я согласился ехать.

Мы немедленно сели в автомобиль. Около Таврического Дворца была уже давка, рабочие, студенты, солдаты с оружием и без оногo, а больше всего люди неопределенного состояния, не то любопытные, не то подозрительные подонки общества с развитым чутьем, ждущие момента поживиться.

Нас окружили, автомобиль остановился, люди вскочили на подножку и начали расспросы — кто едет, куда едут, зачем едут.

Некрасов ответил. Он, видимо, был в каком-то мало для нас понятном контакте с немногими еще главарями толпы, они друг друга понимали с полуслова. Как только толпа узнала, в чем дело, начались крики „ура“, толпа расступилась, и мы тронулись. Вслед неслись крики: „Господин председатель, спасите нас, устройте новое правительство“.

Эти возгласы показывали, как неуверены были участники восстания в его успехе, как они трусили в тот момент и как готовы были идти на компромисс.

На всех перекрестках повторялись подобные сцены вплоть до Летнего сада, который, видимо, был границей влияния восставших. Далее началась нейтральная зона вплоть до адмиралтейства, где сосре-



доточился главный центр сопротивления бунту. По приезде в Мариинский Дворец мы прошли наверх. Там, к моему большому удивлению, я увидел почти весь Совет Министров, не было только Протопопова и Григоровича. Я подошел. Меня встретили недоверчиво, первым вопросом было: „Вы член Временного Комитета?“

Я ответил, что „нет“. Лед растаял. Начался общий разговор, люди были, видимо, очень расстроены, растеряны. Первым делом мне сообщили, что „Протопопов больше не министр“. Оказывается, он подал в отставку, когда увидел, что беспорядки перешли в вооруженное восстание гарнизона. Наибольшее хладнокровие соблюдал Крыжановский, который, помню, говорил, что если бы послушались три дня назад и арестовали несколько десятков вожаков, в том числе несколько думцев, то ничего серьезного бы не произошло.

Меня особенно поразили слова главного военного прокурора, который подошел ко мне и сказал, что самое страшное в происходящих событиях то, что движению сочувствуют военные. Пока я беседовал с министрами, Родзянко и кн. Голицын уединились в одну из соседних комнат и долго вели какой-то разговор. Только много времени спустя Родзянко рассказывал, что он настаивал на отставке министерства и на необходимости передать власть правительству, составленному по соглашению с Думой. Премьер не возражал по существу, но сказал, что он уже подавал в отставку, которая, однако, была отклонена. Поэтому в настоящий критический момент он не может бежать с поста, которого не искал и от которого всегда был бы рад избавиться.

Когда приехал Великий Князь, он тотчас же позвал к себе Родзянко и Голицына. Сущности их беседы я не знаю. Потом премьер удалился и мы, чле-

ны Думы, были приглашены в помещение, где находились В. К. Михаил и Родзянко, который в кратких словах сообщил, что он уже передал Великому Князю мнение совещания членов Думы. Мы все по очереди, хотя в разных выражениях, изложили однородные по существу взгляды на положение вещей, причем в конечном счете выражали надежду, что еще есть возможность избежать крушения существующего строя, если Государь решится передать немедленно власть в руки правительства, ответственного пред Думой. Нам казалось, что эта мера удовлетворит одних, успокоит опасения за последствия выступления у других, даст надежду третьим на легальное развитие парламентской жизни, — словом, разобьет хотя бы на момент сплоченность сил, вовлеченных в борьбу против существующей власти. Притом такое министерство могло рассчитывать найти полную поддержку в армии.

Надо было только действовать крайне быстро и решительно, пока восстание не нашло еще своих вожаков, не имело руководящего центра, не осознало еще своей силы.

Великий Князь выслушал нас внимательно, его редкие реплики показывали, что он прекрасно понимает положение и всецело разделяет наши взгляды.

В результате он сказал, что сейчас постарается переговорить с Государем и убедить его в том, что спасение от междоусобной борьбы в быстром исполнении предложенных нами мероприятий. Затем он удалился, кажется, он уехал в адмиралтейство, откуда можно было говорить по прямому проводу со Ставкой.

Мы остались ждать исхода этого разговора. Между тем обстановка вне Мариинского Дворца быстро и радикально менялась. События шли с головокру-

жительной быстротой, все новые и новые полки приходили в Думу, ставя себя в распоряжение революционных сил. Правительственная власть не существовала, высшее военное командование в столице было в полном параличе, всякое сопротивление восстанию отпало. Но и силы восстания не были еще организованы, революционного центра еще не было, среди антиправительственной стороны, очень активной, еще господствовал хаос.

Драгоценное время шло, мы ждали с величайшим нетерпением возвращения Михаила Александровича, хотя, по правде, у меня было очень мало надежд на благоприятный исход переговоров. Уже давно стемнело, ранняя петербургская ночь незаметно подкралась, доносились дальние выстрелы, на душе было тягостно, сумрачно.

Наконец доложили, что В. Князь вернулся. К нему тотчас отправился Родзянко, потом вызвали кн. Голицына. Мы, думцы, сидели и ждали.

Когда пришел Родзянко, он был мрачнее тучи. Мы узнали, что В. Князю не удалось убедить Государя, напротив, он встретил резкий отпор, ему просто приказали не вмешиваться не в свое дело.

В. Князь понимал трагизм создавшегося положения, но, как верный подданный и лояльный брат, он решил подчиниться полученному приказанию. Он сказал, что ничего больше сделать не может и отныне устраняется от всякого вмешательства в происходящие события. После этого он уехал. Я пошел его проводить. Как сейчас вижу его высокую, тонкую фигуру, взволнованное, грустное лицо. Я не сознавал, что его больше не увижу.

Вслед за ним двинулись в путь и мы, думцы. При этом произошла немая сцена. Выходя из дворца, внизу у лестницы я вдруг столкнулся с Протопоповым. В тот момент никто не знал, где он скрывается.

ся, революционные добровольцы его всюду разыскивали и не находили. Увидя меня, он на мгновение остановился, потом быстро опустил голову и прошел мимо, делая вид, что не узнал меня. Это тоже было последнее с ним свидание. Через несколько дней, когда успех революции выяснился, он пришел в Таврический Дворец и отдался в руки Керенского, министра юстиции.

Мрачные, подавленные ехали мы назад. Все иллюзии были разбиты, впереди мрак и позор.

И улицы были какие-то мрачные, полусвещенные: повсюду толпы вооруженного сброда, но солдат среди них было мало. Поминутно нас останавливали, начинались расспросы „кто, куда...”. Опять с толпой объяснялся Некрасов. Узнав, что едет председатель Думы, люди расступались, пропуская автомобиль, но в их приветствиях не было той сердечности, энтузиазма, которые проявляли солдаты, когда мы ехали в Мариинский Дворец. Видимо, для этих, преимущественно рабочих, Родзянко был только желанным, но временным союзником, попутчиком, но не вождем. У них были другие, более им близкие, вожди-друзья.

Родзянко спросил нас, кого куда отвезти.

Я ответил, что мне больше в Думе делать нечего, что я еду домой, куда меня и отвезли. Я уговаривал моих коллег тоже отправиться домой, сообщив в Думу, что наша миссия не удалась. Дмитрюков так и сделал, но Родзянко и Некрасов считали своим долгом лично отправиться в Таврический Дворец и сообщить членам Временного Комитета о неудаче переговоров с Великим Князем и главой правительства.

Когда чрез день меня вызвали в Думу, революция повсюду торжествовала, власть в столице всецело была в руках восставших, Временный Коми-

тет, задача которого первоначально состояла в переговорах с властью, сам пытался стать властью и возглавить революцию, надеясь ввести ее в государственное русло. Однако было ясно, что эта надежда была тщетной, революция уже нашла своих настоящих вождей, кои еще скрывались в тени, но были сильнее Родзянко.

## ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ

Есть небольшое число политических деятелей, острый и быстро работающий ум которых сразу улавливает основные особенности и свойства событий и обстоятельств, внезапных и неожиданных, но требующих немедленного решения или определения отношения к ним, т. е. таких действий, которые иногда предрешают ход событий большой политической важности. Такие политики, обладающие развитым политическим глазомером, сравнительно редки, это борцы первого класса.

Гораздо больше среди нас, русских политических деятелей последнего царствования, было людей, коим нужно было много раз и подолгу подумать, чтобы разобраться в сложной обстановке, создаваемой затянувшейся войной и предреволюционными настроениями. А пока такие люди думали и рассуждали, события неслись с головокружительной быстротой, то требуя немедленной реакции, то ставя их пред совершившимся фактом. В результате люди вынуждались принимать решения, непродуманные по существу и опасные по последствиям, за которые потом приходилось тяжело платить и им самим и особенно делу, коему они служили. Счастливы среди них еще были те, у кого имелся известный

политический такт, особое врожденное свойство, почти животный инстинкт, который подсказывал в момент, когда надо было принять то или другое решение, что данный акт является опасным, что его делать нельзя. Этот инстинкт спасал иногда от ошибок людей не очень умных, во всяком случае не разбивавшихся лучше, чем другие, во внезапно сложившейся обстановке, если только они привыкли руководиться этим своим врожденным свойством.

Родзянко не принадлежал к политикам первой категории, у него ум работал медленно, тяжеломерно. Все внезапное, неожиданное производило на его сознание впечатление шока, требовало времени, чтобы перевариться в его умственном аппарате. Он мог хорошо и с пользой для своей родины и Государя работать в привычной, нормальной обстановке мирного времени, когда все можно было не торопясь обдумать и вперед предусмотреть, но оказался совершенно беспомощным политическим борцом, когда обстановка тяжелой войны и духовной внутренней смуты поставила его перед необходимостью принимать немедленные решения в обстоятельствах, коих он не успевал понять и не имел времени с кем-либо посоветоваться. А так как у него не было врожденного инстинкта, предостерегавшего от совершения опасных шагов, то в результате он принял ряд решений или шагов, в коих потом, вероятно, должен был жестоко раскаиваться, которые во всяком случае шли вразрез со всей его духовной личностью, со всеми его политическими верованиями, со всеми его личными интересами.

Этими его свойствами — отсутствием способности быстро ориентироваться и воздержаться от ложного шага — я объяснял себе его появление во главе революционного движения.

Как я уже упоминал, мы, делегаты членов Государственной Думы, после неудачи наших переговоров с правительством и В. Кн. Михаилом возвращались домой в крайне подавленном настроении, нам было ясно, что отныне революция пойдет полным ходом, что едва ли нам удастся ее ввести в государственное русло. Я считал, что нам больше в Думе делать нечего, что нам туда вообще показываться нельзя. Я отказался туда вернуться, стал уговаривать Родзянко тоже отправиться домой и по телефону уведомить членов Временного Комитета, что роль последнего кончена. Он согласился, что ему оставаться в Таврическом Дворце не следует, но заявил, что он должен лично доложить Временному Комитету о неудаче нашей миссии и лично распустить Комитет.

Велико было мое изумление на другой день, когда из летучек я узнал, что председатель Временного Комитета не только не распустил последний, но сам явно встал на путь революции, возглавил движение. За 10 лет совместной работы с Родзянко я привык видеть в нем искреннего монархиста и ненавистника революции, который иногда выступал против тех или иных актов Высшей Власти, но делал это не с целью ее дискредитировать, а скорее надеясь защитить ее престиж порою вопреки действиям самой власти. Я терялся в догадках и только позднее узнал от участников, как произошла эта загадочная метаморфоза.

Вот что мне тогда передали.

Когда Родзянко кончил свое сообщение о провале переговоров с правительством и об ответе Царя на обращение В. Кн. Михаила, начались, как всегда, бесконечные прения, выявившие полный разброд мыслей и чаяний собравшихся.

Некоторые настаивали на том, что ввиду явного паралича правительственной власти, Временный Комитет должен взять на себя задачу поддержания порядка в столице и довести до конца поручение совещания членов Думы об организации новой более действенной власти. Другие резко возражали, в первую голову сам Родзянко. Он был упрям и переубедить его было трудно. Но тут случилось одно входящее обстоятельство, которое имело громадные последствия, хотя само по себе было ничтожно.

Кто-то сообщил по телефону, что под влиянием начавшейся среди правительственных чинов паники и анархии мысли охрана казначейства, Государственного банка и винных складов бросила свои посты, учреждения остались без призора.

Люди, ответственные за целостность этих казенных учреждений, обратились в Думу со слезной просьбой принять меры, чтобы спасти казенное имущество и капиталы от расхищения, т. к. анархически настроенная толпа ежеминутно угрожает ворваться и все снести. От правительства ждать помощи было невозможно, оно попросту было в нетях, никто не знал, где оно находится.

Члены Временного Комитета обратились тогда к Родзянко с просьбой принять меры охраны, распорядиться об отправке вооруженного караула, куда следует. Они говорили, что теперь он единственное лицо, которого послушается взволнованная всем происходящим солдатская масса.

Действительно, в течение дня почти от всех запасных полков гвардии приходили в Таврический Дворец депутации, а то и вся часть целиком, с выражением преданности и готовности исполнить все, что прикажет ее председатель.

Родзянко не сообразил, какие последствия может иметь такой акт, как отдача приказа восставшему



против законной власти полку. Его первой мыслью было — спасти казначейство и Государственный банк от разграбления, он и реагировал немедленно. Он подозвал члена Думы полковника Энгельгарда и попросил его соединиться по телефону с Преображенским полком, который один из первых приходил в Думу заявлять свою революционную преданность, и передать туда приказ от имени председателя Думы о немедленной высылке вооруженного караула для охраны казенных учреждений.

Энгельгард это поручение выполнил, а революционный полк немедленно и с большой охотой это первое приказание председателя Государственной Думы исполнил. Караулы были посланы, здания заняты.

Вскоре после этого Родзянко захотел осуществить свое первоначальное намерение — распустить Временный Комитет и отправиться домой. Но тут он уже встретил резкое сопротивление. Ему стали доказывать, что он уже встал на революционный путь, отдавая приказы взбунтовавшемуся полку, что он тем самым встал во главе мятежного гарнизона, тем самым отрезал путь отступления и самому себе и всему Временному Комитету. Ведь если теперь последует анархия и как следствие ее кровавое подавление бунта воинской силой, оставшейся верной власти, то и сам он и все члены Комитета рискуют своими головами за только что совершенный им поступок. Выход только один: идти по раз избранному пути и попытаться убедить власть пойти на уступки, на образование ответственного пред Думой министерства, которое начнет свою работу актом амнистии.

Эти аргументы произвели на Родзянко потрясающее впечатление, только теперь он понял, какой ложный шаг он совершил. Он удалился в соседнюю

комнату и стал обдумывать положение. Когда он вернулся, он был мрачнее ночи, но, видимо, решил на что-то такое, что ему было очень тягостно. Тем не менее он сказал, что он решил идти дальше по раз избранному пути, и остался в Думе.

Так совершился этот непонятный для меня факт, что во главе революции оказался человек, который ее в душе глубоко ненавидел. Ему показалось, что он попал в тупик, что иного выхода для него не осталось.

С этого момента вплоть до отречения В. Кн. Михаила и образования самодержавного Временного Правительства события неслись с такой головокружительной быстротой, которая не давала ему возможности опомниться, осмотреться, разобраться в обстановке. Он уже не руководил событиями, не был хозяином своих действий, значения коих он даже не всегда понимал, во всяком случае не учитывал их последствий. Стихия его несла все вперед по скользкому пути, как несет в бурю волна утлую щепку.

Он должен был при таких условиях совершать ошибку за ошибкой, одну политическую гафу за другой. Он это и делал.

Одной из таких решающих для его судьбы ошибок было его поведение на пресловутом заседании у кн. Путятина, на котором члены Временного Комитета и новое правительство вынудили В. Кн. Михаила отказаться принять корону, завещанную ему Государем, причем вся власть передавалась Временному Правительству, а Дума оставалась за флагом, по существу упраздняясь.

Эти решения шли вразрез со всеми верованиями и убеждениями Родзянко, они противоречили его монархическим идеалам и его личным интересам.

Отречение Государя сохранило монархический строй и династию, в то же время оно поднимало до предельной высоты значение Государственной Думы, во главе коей стоял Родзянко. Приведение в действие этого акта отречения совершенно устраивало Родзянко, оно дало бы ему ореол реформатора, спасшего страну от анархии в критический момент, вместе с тем оно сулило ему одно из первых мест по влиянию и положению. Было из-за чего бороться, хотя бы с некоторым риском в первые дни. Правда, столица была захвачена чернью, но престиж Думы был еще высок в армии и стране, даже среди петроградского гарнизона его личное влияние не было еще изжито. Командный состав армии еще смотрел на него как на опору против возможной анархии и всецело поддержал бы его, возглавляемую им Думу и нового Императора, если бы революционная демократия решилась силою довести свои планы до конца. Партия не была безнадежной, напротив. Среди новых министров двое, при том из наиболее видных, его несомненно бы поддержали. Ведь и Гучков, военный министр, и Милюков, министр иностранных дел, сами по себе отстаивали мысль, что Михаил должен вступить на престол. Но Родзянко не нашелся, не оценил положение. Его смутили возражения Керенского и кн. Львова, он пред ними капитулировал. Когда В. Кн. Михаил, прежде чем принять какое-либо решение, захотел посоветоваться с ним как с председателем Думы, он мог бы еще, быть может, предупредить губительное отречение. Он этого не сделал, не учел последствий этой импровизации. Мало того, когда стали составлять текст отречения В. Кн. Михаила, одного его веского еще слова было бы достаточно, чтобы сохранить в тексте фразу, имевшуюся в отречении Государя, которая предопределяла роль Думы

в конструкции будущей власти, ставя управление страной на парламентскую платформу, обязуя новую власть управлять в „единении с Государственной Думой”.

В отстаивании этой формы, быть может трудно осуществимой, но все же не безнадежной, он сам был кровно заинтересован, как председатель Думы он обязан был это сделать.

Но он даже не попытался бороться за положение учреждения, председателем коего состоял, не потому, что он в Думе разочаровался, а просто потому что не сообразил, куда клонит составитель текста отречения В. Кн. Михаила. Эту ошибку он осознал очень скоро, когда на его пожелание о созыве Думы он встретил энергичный отпор. Ему было вежливо, но решительно указано, что мавр уже сделал свое дело и может уходить, созыв Думы-де противоречит точному смыслу отречения В. Кн. Михаила, передавшего всю полноту исполнительной и законодательной власти Временному Правительству. На этой же точке зрения стояла революционная демократия, переставшая опасаться Временного Правительства, но боявшаяся, что возобновление деятельности цензовой Думы может создать ей опасный противовес.

Только тогда он сообразил, в какую ловушку он попал сам и какую роль его ошибка предопределила учреждению, во главе коего он стоял. Но было уже поздно.

В первый день революции, когда Родзянко, встав во главе движения, попытался ввести его в русло переворота сверху, имевшего целью перемену лица на престоле, а не свержение существующего политического и социального строя, около него объединилось несколько лиц из состава думской канцелярии, которые, рискуя своими головами, старались

помочь ему, чем могли. В числе таких лиц был Глинка, начальник первого отдела думской канцелярии.

Глинка не был революционером, напротив. Это был типичный русский интеллигент, несколько кадетствующий, но долголетняя служба в Думе среди ее умеренного большинства в непосредственном подчинении ряда председателей из октябристской среды выработала из него усердного и спокойного чиновника, ожидавшего прогресса от эволюции, а не от революционного взрыва. Поэтому его готовность помогать Родзянко на революционном пути я объяснял многолетней привычкой к сотрудничеству с ним, к подчинению его авторитету. Как бы то ни было, Глинка в первый же день состоял при Родзянко в роли начальника революционной канцелярии.

Прошло несколько дней, революционная борьба кончилась с образованием Временного Правительства, Родзянко и его Временный Комитет остались не у дел, за бортом революционной жизни. Вместе с ним остался не у дел и Глинка.

Но он сохранил большие связи. Временное Правительство, ставшее полновластным, хотя только на бумаге, властителем России, помнило его работу в Думе, видело его революционные заслуги. Он имел право надеяться на компенсацию. И он ее получил. Приблизительно в начале лета он был назначен сенатором. Это было всегда венцом карьеры для любого чиновника, теперь Глинка этого достиг и ликовал.

Родзянко указал лицо, кому он должен передать архив, бумаги, дела и пр.

За время революции, когда толпа захватила Таврический Дворец, когда не только чиновники, но и сам председатель были внезапно вытеснены из помещений, им отведенных, естественно, архивы пришли

в расстройство, пришлось поработать, чтобы в них разобраться. Вот тут произошел необычный случай...

Однажды Глинка пришел к Родзянко и в моем присутствии рассказал следующее.

Разбирая свой письменный стол, запертый им в первые дни революции, он, к удивлению своему, нашел там великолепный кожаный портфель, набитый до отказа бумагами. Сперва он не мог понять, как могла попасть к нему эта чужая вещь, и только разобравшись в ее содержимом, он вспомнил происхождение портфеля.

В первый день революции, еще 27-го февраля, в Думу прибыла толпа солдат и вооруженной молодежи под предводительством неизвестного человека, который объяснил, что они имели намерение арестовать председателя Совета Министров кн. Голицына, всюду его искали, но не нашли. При обыске в служебном кабинете премьера они нашли на столе шикарный портфель с бумагами и, не имея возможности привести в Думу самого министра, решили хотя бы доставить туда его портфель. Глинке тогда было не до портфеля, он поблагодарил, взял портфель и бросил его в стол, а потом о нем забыл.

Теперь он разобрался в содержимом портфеля и, к величайшему своему удивлению, нашел там между прочими бумагами донесение департамента полиции министру внутренних дел. В этом рапорте департамент доносил, что существуют целых два революционных заговора, возглавляемых каждый своим независимым революционным центром.

Первый из них создан в Москве, его состав чисто буржуазный, в него входят крупные промышленники и политические деятели, объединяющиеся около ЗЕМГОРА и Военно-промышленного Комитета. Эти лица многократно собирались сперва у Ко-

новалова, потом у другого лица и выделили из своей среды революционный центр из пяти лиц, возглавляемый кн. Львовым. В состав этого центра входят Челноков — как председатель Городского Союза, Коновалов — как председатель Военно-промышленного Комитета, П. П. Рябушинский — председатель Московского биржевого комитета, и еще одно лицо, имя коего я забыл, которое являлось представителем Викжеля.

Вторая революционная организация, гораздо более активная и опасная, состоит из социалистов. Ее возглавляет революционный комитет из одиннадцати лиц, в том числе несколько членов Думы, как Керенский, Чхеидзе, Скобелев.

Полиция тщательно следит за обеими организациями, знает каждый их шаг. Рядом с квартирой, где собираются члены социалистической организации, департамент имеет помещение, связанное с первой сетью микрофонов, с помощью коих все речи, все разговоры революционеров подслушиваются и стенографируются. Оба центра находятся в связи, работают совместно. Но первый работает в верхах общества и армии и финансирует вторую организацию, а социалисты агитируют в казармах и на фабриках. Получая деньги от первого, они формально принимают его директивы, но они решили быть самостоятельными и захватить власть при удаче переворота в свою пользу.

Департамент считал, что настал момент произвести аресты главных деятелей обеих организаций, но так как в числе лиц, подлежащих аресту, имеются члены Государственной Думы и Государственного Совета, то он не рискует действовать самостоятельно и испрашивает прямого указания министра.

Никакой резолюции, видимо, правительством не было принято, доклад мирно лежал в портфеле

премьера до тех пор, пока его не принесли в Думу революционные солдаты. Что стало потом с этим любопытным документом, я не знаю, Глинка уже сдал дела, это был его прощальный визит в Таврический Дворец, больше я его никогда не видал.

Прошло почти три года. Разбитые остатки Добровольческой армии спешно отступали к Новороссийску. Женщин, детей, больных, раненых вывозили англичане, мы, гражданские сотрудники Деникина, оставшиеся за флагом при последней перемене „ориентации”, ловчились, как могли, чтобы попасть на один из последних уходивших за границу пароходов. Я попал в самый последний момент на пароход „Св. Николай”, уже переполненный до отвала. Пришлось ютиться на палубе, под дождем и ветром, при сильном норд-осте. Через несколько дней я тяжело заболел. Когда мне стало легче и я получил возможность болтать с тем, кто приходил меня проведать, однажды ко мне подошел невысокого роста генерал. Я его не помнил, но он представился и сказал, что давно и хорошо меня знает по моей думской работе и по участию в Особом Совещании при Деникине. Это был Климович, который играл когда-то большую роль в департаменте полиции. Он оказался очень интересным собеседником, много видел на своем веку, знал много народа, был наблюдателен и прекрасно умел излагать свои мысли. Мы часто с ним разговаривали, — впрочем, он больше рассказывал, а я слушал.

Однажды он рассказал мне некоторые эпизоды, предшествовавшие революции. Он уверял, что подготовка революции не осталась незамеченной департаментом полиции. Напротив, последний прекрасно был обо всем осведомлен и не его вина, что дело зашло так далеко, что вспыхнул бунт гарнизона. По сведениям департамента, в 1916 г. существовало



два революционных центра. Один из них состоял приблизительно из 40 человек, главным образом промышленников и политических деятелей Москвы. Члены его собирались сперва у Коновалова, потом у Кишкина, игравшего вообще большую роль в организации. Во главе ее стоял комитет из пяти человек под председательством кн. Львова, членами были Челноков и Рябушинский и еще двое. Эта организация имела очень большие средства на революционную деятельность, собранные по подписке крупными промышленниками. Наибольшую лепту внес Терещенко, за ним следовал Коновалов. Она имела многочисленных сотрудников в лице служащих Земского Союза, Городского Союза, Московского биржевого комитета, военно-промышленных комитетов и железнодорожных служащих. С помощью этих лиц организация проникала в армию и в административные аппараты, ее главари сами работали в верхах армии. Но они не имели доступа в казармы и на фабрики, там у них была союзницей вторая организация, чисто социалистическая, которую они финансировали. Социалистическая организация возглавлялась комитетом из 11 лиц, в том числе были Керенский, Чхеидзе, Брамсон и др. Климович называл мне имена, но теперь я их не помню. Департамент полиции следил за шаг за шагом за развитием заговора, был в курсе дела всех заседаний и решений обеих организаций. Откуда шло осведомление о первой организации — он мне не сказал, но про вторую сообщил, что рядом с помещением революционеров департамент имел свое, которое было соединено сетью микрофонов с первым, что и давало возможность улавливать каждое слово, сказанное на заседаниях революционеров.

Когда департамент решил, что настало время произвести аресты главных деятелей обоих центров,

что дальнейшее промедление может быть опасным, даст возможность развиться восстанию, он представил Протопопову подробный доклад и просил разрешения произвести аресты. Сам он не решался на такой шаг, так как приходилось арестовать нескольких членов Государственной Думы и Государственного Совета, притом во время текущей сессии.

Протопопов тоже не решился взять на себя ответственность за аресты, он решил передать дело на усмотрение Совета Министров и препроводить доклад департамента полиции кн. Голицыну. Но и премьер был старым человеком с слабой волей, притом абсолютно неподготовленный к трудной роли главы правительства в военное время. Он не торопился с этим неприятным делом, которое лежало без движения в то время, когда революционеры лихорадочно работали. Так департамент и не дождался резолюции правительства на свой доклад.

Наступила революция, которая все смела, и департамент полиции, и министерство, и трехсотлетнюю историческую власть.

Когда я слушал этот рассказ, который так близко сходил с тем, что когда-то я слышал от Глинки, я понял, как прав был Крѣжановский, говоривший тоном упрека своим коллегам еще 27-го февраля — „надо было арестовать дня три назад несколько главарей и ничего подобного бы не было”.

Если бы на месте слабого Голицына в этот трагический момент русской истории премьером был хотя бы Григорович, то, вероятно, главари революционной организации, если бы таковая вообще в таком случае образовалась, были бы под замком задолго до начала движения, что спутало бы все их расчеты и, возможно, предупредило бы самое выступление.

К несчастью для России, после непопулярного, но все же сильного волею Трепова премьером был назначен человек, лично кристально честный, но слабый и старый, который сам отлично сознавал свою непригодность для роли премьера. Когда ему был предложен этот пост, он упорно отказывался и уступил только потому, что Государь лично сказал ему, что теперь военное время и что он не имеет права отказываться. Впоследствии он рассказывал Родзянко, что, уговаривая Царя освободить его от непосильного бремени премьерства, он наговорил о себе таких вещей, что, если бы кто-либо другой это повторил, то он вызвал бы того на дуэль.

Кн. Голицын погиб вследствие недостатка инстинкта власти, которой он не искал и не хотел. Этого нельзя сказать про Протопопова, еще более ответственного за бездействие в самый критический момент нашей истории. Он знал, что он больной человек, его уговаривали люди, в благожелательность коих он должен был верить, чтобы он сам отошел от власти, которая ему становилась не по силам, не по здоровью. Но он цеплялся за власть, — вернее, за призрак власти, т. к. он уже не был способен проявлять волю и решимость действовать, без чего власть есть только фикция.

Ради сохранения этой фикции он не только сам дошел до крепости, а потом до стенки, но и содействовал своим бездействием тому, что Россия оказалась на Голгофе.

## РОКОВАЯ НОЧЬ

День 28 февраля я провел на улицах взбунтовавшейся столицы. Всюду сновали толпы распущенной солдатни и вооруженного сброда. Кое-где произво-

дили обыски, жгли полицейские участки, арестовывали чинов полиции и администрации. Всем руководили новые начальники толпы, студенты и штатские, надевшие для этого случая студенческие фуражки.

Ночь на первое марта прошла тревожно. В нашем квартале, на углу Стремянной и Поварского, имелся участок, который был подожжен толпой. Там случайно оставался какой-то несчастный полицейский чин, боявшийся выйти на улицу в форме. Поэтому он пробрался через слуховое окно на крышу соседнего дома, где и старался спрятаться за трубами и карнизами, видимо, рассчитывая с наступлением темноты скрыться чрез какой-либо чердак. К несчастью, кто-то его заметил, поднял крик, собралась толпа, дала знать „революционным силам”. Началась форменная охота на человека. Квартал оцепили, чердаки заняли, началась стрельба с крыш более высоких домов. Несчастный перебежал с дома на дом, стараясь скрыться, всюду его преследовали выстрелы. Он начал отвечать из маузера, преследователи вызвали броневики, всю ночь шла стрельба из ружей, прерываемая отвратительной пулеметной трескотней броневиков. К утру все стихло. Начались повальные обыски в квартале, искали оружия, соучастников скрывшегося противника, контрреволюции и просто — вина.

Часов в восемь утра толпа ввалилась в мою квартиру. Я и мои братья были страстными охотниками, у нас было много всякого рода охотничьих ружей. Солдаты немедленно всем этим овладели — „конфисковали оружие”. Появился и вождь, молодой человек в форме Бехтеровского института. Сперва он был очень нагл, но узнав, что я член Государственной Думы, притом один из лидеров центральной фракции, входившей в прогрессивный блок, он

немедленно изменил свое поведение, сделался очень любезным и попросил разрешения переговорить по телефону. Он вызвал „военную комиссию Государственной Думы“, о существовании коей я еще не слышал, и доложил кому-то, что при обыске в квартире члена Государственной Думы Савича найдена „масса всякого оружия“. Затем, выслушав ответ, он приказал солдатам убираться вон, прибавив, что из комиссии приказали немедленно вернуть все забранное оружие. Солдаты скрылись, но вернуть наши ружья было уже невозможно, ибо они давным-давно были разобраны солдатами, из коих каждый, получив свою „добычу“, немедленно исчезал без остатка. Студент заявил, что они дело разберут, все взятое будет возвращено, но было ясно, что он сам стремился поскорее скрыться. Перед уходом он передал мне, что „полковник Энгельгард, председатель военной комиссии Государственной Думы, передает, что председатель Государственной Думы Родзянко очень просит вас немедленно приехать“.

Приблизительно через час или полтора я был в Таврическом Дворце. Его уже невозможно было узнать. Вместо чистенького, щеголеватого помещения законодательного учреждения, каким я привык его видеть за последние девять с половиной лет и каким он был еще два дня назад, дворец „великолепного князя Тавриды“ представлял собой теперь редкую картину мерзости и запустения, какой-то бедлам или сумасшедший дом.

Вокруг шумела и галдела многочисленная пестрая толпа. Тут были и мужчины и женщины, солдаты и штатские, старики и учащая молодежь, чиновничьи фуражки и гимназические шинели, странная смесь одежд и лиц. Все это спорило, галдело, чего-то ждало, чем-то восторгалось и чего-то боялось.

С трудом протискался к входу в Думу, он был занят вооруженным караулом, который меня медленно пропустил, когда я себя назвал. Здание Думы было сплошь забито посторонними людьми, преимущественно солдатами. В коридорах, в прихожей была невообразимая давка, люди стояли или двигались произвольно, носимые течением, прижатые один к другому, как в Исаакиевском соборе во время пасхальной заутрени. В круглом зале возвышалась чуть не до второго этажа громадная груда мешков с мукой и всяких запасов, очевидно, кто-то снабдил Таврический Дворец неприкосновенным запасом продовольствия на случай „осады”. В Екатерининский зал я пробраться не мог. Попытался проникнуть в кабинет председателя Думы в надежде найти там Родзянко. Оказалось, что это не так просто. Пространство, которое обычно требовало полминуты или того меньше, теперь не легко было преодолеть. Пробивался, вероятно, не менее 15 минут, пока добрался до цели. Но тут меня ждало разочарование. Я не нашел там Родзянко, он был уже вытеснен из своего роскошного кабинета, коим завладел новый владыка минуты — Керенский, туда теперь приводили бывших сановников царского режима, арестованных в порядке частной инициативы.

Как раз при мне притащили старика Горемыкина. Он был в шубе с цепью св. Андрея Первозванного на шее. Вид у него был жалкий, запуганный, старик стал как-то еще меньше ростом, весь съежился. Керенский немедленно отвел его в угол к камину, позвал двух юнкеров. Явилось целых трое. Он прикрикнул, почему трое, а не два, как он приказал, потом поставил двух из них с обнаженными шашками около Горемыкина и приказал „никого не допускать к арестованному”.

После этого еще тяжелее стало на душе, пошел искать Родзянко. Я его нашел в помещении Временного Комитета, как теперь начали называть три малюсеньких комнатки, куда загнали революционные силы Родзянко и возглавляемый им Временный Комитет. Это помещение занималось когда-то канцелярией думской библиотеки, там работали ее дактилографистки. Теперь здесь находился главный штаб революции, ее умственный центр. По крайней мере тогда так казалось всей России, да и мне в том числе. Я не мог понять только одного, почему Родзянко понадобилось оставить свой удобный и роскошный кабинет, почему он перебрался на задворки Таврического Дворца, в его боковой флигель. Это обстоятельство как-то мало вязалось с представлением о всемогуществе Временного Комитета. Скоро все стало мне ясным.

Я застал Родзянко очень взволнованным, утомленным, переменившимся. Это был совсем другой человек, чем дня три тому назад. Меня он встретил приветливо, попенял, что я так долго не появлялся в Думе. Затем он сообщил, что Временный Комитет решил послать в Бологое делегацию из трех лиц требовать отречения Царя. В состав этой делегации входит он, С. Ил. Шидловский и Чхеидзе.

Я сперва не понял, почему они едут в Бологое, но Родзянко пояснил, что Государь, выехавший из Могилева в Петроград чрез Николаевскую железную дорогу, не мог добраться до столицы, вследствие того, что Колпино оказалось уже в руках восставших. Затем он сказал, что отречение должно состояться в пользу малолетнего Цесаревича, таково соглашение, достигнутое с президиумом Совдепа. Я спросил, что же ждет Николая II в случае отречения, отправят ли его за границу или предоставят право жить в Крыму. Оказалось, что об этом Вре-

менный Комитет не подумал, это-де вопрос второстепенный, об этом подумаем после. Я высказал сомнение, что Государь согласится подписать отречение, не зная, что после того ждет его и его семью.

Тут произошел странный спор между будущими делегатами. Они этого вопроса не обсуждали, каждый его представлял по-своему. Родзянко склонялся к отправке Царской Семьи за границу, но этому определенно воспротивился Чхеидзе, который сказал: „Никогда, у него там имеются громадные деньги, 500 миллионов рублей золотом, он нам такую контрреволюцию устроит, что от нас ничего не останется. Его надо здесь обезвредить”.

Для меня было ясно, что этим судьба Николая II решается, что никогда Совдеп не согласится на его отъезд за границу, что одно могло обеспечить его безопасность.

Тут я сделал громадную оплошность, ошибку, имевшую, быть может, роковые последствия. Я спросил Родзянко, насколько он уверен в том, что делегация вернется благополучно в Петроград при всяком исходе ее миссии, есть ли гарантия, что ее не арестуют в Бологом.

Эти слова произвели потрясающее впечатление на делегатов, видимо, и об этой возможности не подумали, не предвидели решительно ничего. По крайней мере Родзянко долго и внимательно смотрел на меня и вдруг сказал: „Он прав, мне как председателю Временного Комитета нельзя туда ехать”. Затем он решительно отказался от поездки, несмотря на настояния некоторых членов Временного Комитета. После этого отказался ехать Шидловский, а затем и Чхеидзе. Словом, от делегации ничего не осталось.

Тут на меня набросился Милюков с упреками за то, что я, не войдя в состав Временного Комитета и



не неся никакой ответственности, опрокидываю моим влиянием на Родзянко решения, единогласно принятые во Временном Комитете. Я встал и вышел в соседнюю комнату, оставив их разбираться в их делах, как они хотят.

Через некоторое время меня опять позвал Родзянко и просил отыскать Гучкова. Временный Комитет в то время был очень озабочен событиями в гарнизоне, где под влиянием Совета Рабочих и Солдатских Депутатов вспыхнули беспорядки, насилия над офицерским составом.

Причиной этого прискорбного факта была уже начавшаяся глухая борьба между Временным Комитетом и Совдепом за власть, особенно за власть над гарнизоном.

Накануне происходили длительные дебаты между ними по вопросу о тексте обращения к населению столицы и к гарнизону. Совдеп требовал включения в текст обязательства о невыводе из столицы „революционного гарнизона” во все время войны. Гучков, который в это время уже был назначен военным министром и в то же время стоял во главе „обороны столицы” против двигавшихся для ее покорения отрядов ген. Иванова, ни за что не соглашался на такое обязательство. Поэтому не состоялось соглашения между двумя соперничавшими и друг другу не доверявшими революционными центрами, в результате чего левое крыло Совдепа издало свой пресловутый приказ. Пред общей опасностью, возможностью усмирения бунта вооруженной рукой, оба центра революции не перессорились немедленно, но взаимное доверие и вражда усилились, стали очевидными. Образовалось два враждебных центра, две силы, две соперничавшие власти.

Теперь, когда поездка в Бологое была отменена, надо было как-то договориться с Совдепом. Без

Гучкова это было немыслимо, а он занятый мерами обороны столицы, глаз не показывал.

Я пошел его искать. Это было не так просто, как казалось с первого раза... Он находился, вероятно, в помещении быв. амбулатории. Чтобы пройти туда, потребовалось не меньше получаса, такая была толпа и толкотня в коридорах. Наконец прибыл по назначению, хотя шансов поймать Гучкова было не много. Но мне повезло. Я увидел его говорящим с морским офицером, стоявшим ко мне спиной. На плечах офицера были погоны с орлами. Когда я приблизился, Гучков тотчас подозвал меня и, не ожидая, пока я передам ему поручение Родзянко, сказал: вот позвольте вас познакомить, член Государственной Думы Савич — Великий Князь Кирилл Владимирович.

После этого он немедленно попытался скрыться, едва-едва я успел ему передать поручение Родзянко.

Мы остались с Великим Князем одни. Оказалось, он прибыл в Думу с своим гвардейским экипажем, пожелавшим присоединиться к движению. Видимо, он был сильно потрясен, поставил себя в распоряжение революционной власти исключительно по принуждению, страха ради. В его разговоре можно было уловить ноты отчаяния, опасения за будущее, сознание происшедшей катастрофы. Между прочим он мне сказал, что его жизнь уже почти кончена, а вот детей жалко, за них страшно, что с ними будет. Я старался его ободрить, как мог, говорил, что все со временем образуется.

Исполнив поручение, я вновь пробрался в помещение Временного Комитета. Когда кончилось совещание его членов и Родзянко вышел в среднюю комнату, у меня с ним произошел любопытный разговор. В то время трения с Совдепом продолжались, соглашение не устраивалось. В зависимости от

последнего было назначение революционного Временного Правительства, имена министров перебирались, об них велись переговоры с Совдепом. Между прочим Родзянко сказал: „Вам придется быть морским министром, ваша кандидатура не встречает возражений”. Я немедленно отказался, указав, что не для того я 9 лет работал над возрождением флота, чтобы видеть, как он под моим флагом погибнет. Последнее было ясно, флот слишком деликатный организм, чтобы выдержать революцию, да еще в военное время. Несмотря на уговоры других членов Временного Комитета, я настоял на своем решении. Я провел весь остаток дня в помещении Временного Комитета, но уже в комнату, где его члены совещались, не входил, в их дела ни прямо, ни косвенно не путался.

Насколько в этот момент отношения с Совдепом порою натягивались, видно из того, что в одну из таких минут напряжения Родзянко сказал мне: „Вы в приличных отношениях с Керенским, узнайте, пожалуйста, обеспечена ли наша неприкосновенность”.

Эта фраза показывала, в каком состоянии перенапряжения нервов находились члены Временного Комитета, как они были запуганы. Этим перепугом я в значительной мере объяснял себе тот факт, что Родзянко, пришедший в Думу бороться с революцией и революционерами, оказался вдруг во главе революции, ее приемным отцом. Он мог это сделать только в минуту перепуга, под влиянием такого духовного потрясения, которое перевернуло вверх дном всю его психику. Он был крупным помещиком, земцем правого толка. Все его личные и имущественные интересы были связаны со старым социальным строем, он прекрасно понимал, что всякая революция у нас выльется в грабеж его клас-

са и его самого. Если он встал во главе революционного Временного Комитета, то значит в этот момент он спасал тем свою жизнь, или, по крайней мере, думал, что ее спасает.

Весь день 2-го марта я провел в Таврическом Дворце. Наступила ночь, ранняя, морозная петербургская ночь. Идти домой почти чрез весь город было как-то неуютно, дворников уже не было, полиция исчезла, всюду бродили толпы подозрительных людей, подонков общества, почувствовавших себя героями дня. Поэтому я охотно принял предложение Родзянко подождать его возвращения в Думе. Он и кн. Львов, вновь назначенный революционный премьер, должны были ехать в военное министерство, чтобы переговорить по прямому проводу со Ставкой.

Я остался ожидать в помещении Временного Комитета, в комнатах, где раньше находились машинистки библиотеки. Тут же ожидали возвращения обоих лидеров остальные члены Временного Комитета и министры Временного Правительства.

Время шло, Таврический Дворец постепенно пустел, заполнявшие его целый день толпы распушенной солдатни и революционно настроенных рабочих разбрелись, остались только наиболее упорные приверженцы вновь народившегося Совдепа, которые храпели, кто на диванах, кто просто на полу.

Министры, новые властители помешавшейся столицы, томилась в напрасном ожидании: Родзянко и кн. Львов не возвращались, куда-то исчезли. Пробовали их отыскать при помощи телефона, но все было напрасно, их и след простыл.

А между тем момент был тревожный. Еще днем уехали в Псков делегаты Временного Комитета, Гучков и Шульгин, требовать отречения Императора

в пользу Наследника Алексея Николаевича. С тех пор прошло много времени, а известий не было никаких. Естественно, новоиспеченные министры и члены Временного Комитета с нетерпением ждали, что день грядущий им готовит. Ведь не была исключена возможность того, что делегаты арестованы, что тем самым надежда на бескровную победу отпала, что впереди кровавая вооруженная борьба, исхода которой никто не мог бы предсказать, но которая поставила бы на карту их головы. Родзянко должен был выяснить отношение Ставки к положению, поэтому его исчезновение усилило тревогу.

Однако усталость от двух бессонных ночей давала себя знать, люди начинали дремать, оживленный недавно разговор затих, министры и члены Временного Комитета начали устраиваться, кто на диване, кто на сдвинутых креслах, кто просто на столах.

Среди ночи, приблизительно около часу, я услышал оживленный разговор в первой комнате, где дежурил депутат от Харьковской губернии Лашкевич. Оказалось, что это капитан 1-го ранга гр. Капнист привез какую-то важную, только что расшифрованную телеграмму, адресованную Родзянко или кн. Львову. Очевидно, это было сообщение о результатах миссии Гучкова и что-либо очень важное, так как ее привез сам помощник начальника Морского Генерального Штаба, замещавший в то время отсутствовавшего адм. Русина. Создавалось странное положение: приближался наиболее критический момент революции, ежеминутно должно было прийти известие из Пскова, могущее потребовать принятия немедленного решения, от коего могли зависеть судьбы России и движения, во главе которого стояли Родзянко и кн. Львов, а оба они пребывали в нетях. Только впоследствии мы узнали, что они оба очень устали и решили хорошенько отдохнуть. А

чтобы их не могли найти, они тайно отправились спать, один к Вонлярлярскому, другой к Щепкину.

Я разбудил Милюкова, Керенского и прочих членов Временного Комитета и нового правительства. Они устроили летучее совещание и решили вскрыть телеграмму, в которой, как оказалось, Гучков извещал о состоявшемся отречении Николая II в пользу В. К. Михаила.

Факт отречения в пользу В. К. Михаила вызвал сенсацию. Перед поездкой делегатов в Псков происходили между Временным Комитетом и президиумом Совета Рабочих и Солдатских Депутатов длинные и трудные переговоры о том, как и в пользу кого надо требовать отречения. В то время с президиумом Совдепа еще можно было торговаться, они далеко не были уверены в благоприятном исходе движения, отлично понимали, что если дело дойдет до кровавой междоусобной войны, они рискуют своими головами. Поэтому они боялись перетянуть струну, готовы были идти на соглашения с Временным Комитетом. Тогда договорились на том, что отречение должно состоять в пользу малолетнего Цесаревича Алексея, при котором будет организовано регентство, установленное Учредительным Собранием, созванным на основе четыреххвостки.

Теперь это соглашение отпадало. Если социалисты вчера еще готовы были помириться на отречении в пользу ребенка, не имевшего возможности немедленно взять в руки бразды правления, то восшествие на престол В. К. Михаила — человека взрослого и выросшего в известных традициях, — с их точки зрения, в корне меняло положение. Притом же после отречения Николая II всякие разговоры с ними становились много труднее, ведь отпадала угроза того, что Император придет с фронта во главе верных отрядов армии добывать свой трон.

Это тотчас поняли многие из присутствующих, смятение было чрезвычайное.

Было еще одно обстоятельство, о котором тогда, в помещении Временного Комитета, никто не стал говорить. Цесаревич Алексей Николаевич был еще ребенком, никаких решений, имеющих юридическую силу, он принимать не мог. Следовательно, не могло быть попыток заставить его отречься или отказаться занять престол. Временно, до созыва Учредительного Собрания, роль регентства пришлось бы исполнять либо лицу, либо группе лиц, назначение которых не могло обойтись без участия Временного Комитета и нового Временного Правительства. Насильственное устранение их от власти Совдепом было, конечно, возможно, но это открыло бы глаза военному командному составу.

Последний считал, что движение поднято Государственной Думой, отождествлял Временный Комитет с последней. Он привык верить в патриотизм и государственный смысл народного представительства. Поэтому он в решительный момент не вступил в вооруженную борьбу с движением, считая его за попытку перемены лица на престоле, не понимая того, что дело шло о социальной революции, о полном крушении всего государственного и социального здания Русской Империи.

Если бы Совдеп решился на насильственное и незаконное устранение малолетнего Императора и образованного при нем регентства, то военные власти поняли бы, что Дума и ее Временный Комитет уже устранены, что улица победила в Петрограде. Тогда пред ними встал бы вопрос, что делать, как спасти положение, как продолжать войну.

Их вмешательство становилось возможным, вероятным, а надежные силы еще были, которые можно было двинуть спасти малолетнего Императора и

Думу. Вожди Совдепа это понимали, поэтому они могли не решиться на такой шаг, который притом противоречил достигнутому соглашению.

Теперь у них руки были развязаны. Соглашение отпало. Новый Император был в сущности их пленником, один среди взбунтовавшейся столицы, где они властвовали. Новое Временное Правительство тоже было в их власти, ему не на что было опереться.

Как бы то ни было, решение отречься в пользу В. К. Михаила было фактом, оно спутало все карты, требовало принятия каких-то мер, каких-то решений, притом немедленных. А между тем новое правительство было без головы, — вернее, обе головы, которые управляли движением, спрятались, мирно отдыхали в укромном месте.

Первым овладел собою Керенский. Он бросился к телефону предупредить главарей Совдепа о состоявшемся отречении в пользу Михаила Александровича. Там ответственные люди оказались на месте. Затем он позвонил на Миллионную в квартиру кн. Путятина, где находился В. К. Михаил, и потребовал, чтобы немедленно разбудили Великого Князя, коему он должен сообщить известие чрезвычайной важности. Вскоре В. К. Михаил подошел к телефону и Керенский сообщил ему о состоявшемся отречении в его, Михаила Александровича, пользу, причем прибавил, что Великому Князю надлежит принять ответственное решение, и что новое правительство утром придет узнать, что решил В. Князь.

Это было единственное действие со стороны членов Временного Комитета и Временного Правительства в эту тревожную ночь. Все остальное время до утра прошло в бесконечных праздных разговорах в ожидании приезда Родзянко и кн. Львова. В моей памяти резко запечатлелся краткий обмен мнений



между Милюковым и Шингаревым. Последний был очень смущен возможными последствиями отречения в пользу В. К. Михаила и, обращаясь к своему лидеру, Милюкову, сказал: „Павел Николаевич, как все запуталось”. На это Милюков, спокойно поправляя очки, ответил: „Напротив, все становится более ясным. Михаил должен принять власть и все отлично устроится”.

Время шло бесконечно долго, обоих лидеров все не было, уже давно рассвело, город начал оживать. Социалисты не дремали, они мобилизовали свои силы, Таврический Дворец и Миллионная ул. наполнились возбужденными приверженцами Совдепа. А в помещении Временного Комитета спокойно ждали возвращения лидеров.

Наконец, они явились, им сообщили содержание телеграммы Гучкова, оба отнеслись к ней пассивно, как будто так и должно было случиться. Никаких решений, никаких обсуждений нового положения не было. Стали ждать возвращения Гучкова и Шульгина с подлинным отречением — и только.

Наконец по телефону сообщили, что поезд из Пскова прибыл в Петроград. Затем приехал Шульгин, привез подлинное отречение, а Гучкова все не было.

Оказалось, что по прибытии в Петроград он попытался обратиться с речью к рабочим на вокзале, в которой сообщил, что отречение состоялось и что теперь у нас новый Император Михаил. За это его рабочие немедленно арестовали, главарям Совдепа пришлось его вызволять. Таков был первый дебют члена Временного Правительства.

Когда он наконец прибыл, все члены Временного Комитета и Временного Правительства отправились на Миллионную к В. К. Михаилу. При этом опять никто не нашел нужным обсудить положение, ре-

шить, как правительству надлежит отнестись, что рекомендовать Великому Князю, чего требовать, на чем настаивать. Просто — снялись с якоря и поехали, как будто дело шло об увеселительной прогулке.

Что происходило у Великого Князя, я знаю только по чужим воспоминаниям, появившимся в печати. Поэтому ничего об этом писать не могу. Пробыли они на Миллионной довольно долго, а когда наконец вернулись, многих нельзя было узнать. Видимо, это катастрофическое по своим последствиям заседание произвело на многих сильное впечатление.

Особенно возбужден был В. Н. Львов, новый Прокурор Св. Синода. Увидев нас, членов Государственной Думы, он начал стучать по столу и кричать: „Плевать мне теперь на Думу, я получил власть из рук революционного народа“. Такова была реакция на этого неуравновешенного человека, вызванная заседанием на Миллионной и особенно тем фактом, что в манифесте об отказе от власти Михаила Александровича было исключено указание на сотрудничество новой власти с Государственной Думой.

Другие члены Временного Правительства так резко своих чувств не проявляли, но кн. Львов немедленно собрал летучий совет министров, на который уже Родзянко и членов Временного Комитета не пустили.

Их роль была кончена навсегда, а вместе с тем и новая власть, вырвавшая из-под себя возможную опору в лице Государственной Думы, повисла в воздухе.

Скоро появилась карикатура, изображавшая Родзянко, покрытого паутиной, под коей имелась надпись: „А старичка-то и забыли“.

Это было правдой.

Мавр сделал свое дело, революция в нем больше не нуждалась, он должен был отойти.

## СУДЬБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЕЕ ПОХОРОННЫЙ ЮБИЛЕЙ

Уже почти два месяца правило на Руси Временное Правительство, которое с момента вынужденного отказа В. К. Михаила принять уступленную ему Государем власть провозгласило себя носителем полноты исполнительной и законодательной власти. Эта попытка была осуществлена путем коренного изменения смысла взаимоотношений между Думой и будущей властью, которые имел в виду Государь в момент подписания манифеста о своем отречении.

Именно, Государь в момент отказа от власти, завещанной ему от предков, совершенно определенно выявил, кому и на каких условиях он эту власть передает.

Он еще до отречения подписал указ о назначении главою министерства кн. Львова. В то время вся наша радикальная интеллигенция, голосу которой ошибочно придавали значение голоса народа, требовала министерства „общественного доверия“, причем возглавителем такового называли кн. Львова. Последний был также кандидатом думской фракции кадет, которой приписывали роль руководителей „Прогрессивного блока“. Естественно, в представлении Царя и его окружения, кн. Львов являлся тем излюбленным русскою общественностью возглавителем будущего конституционного правительства, который пользуется обеспеченным доверием большинства Думы. Его назначение в глазах Государя было решительным переходом к той фор-

ме правления, которую при Дворе называли „конституцией” и которую в общезнании мы именуем „парламентарным строем”.

Еще резче подчеркнул он это свое решение текстом отречения в пользу В. Кн. Михаила. Именно — там он определенно ставил условием своему брату правление в „единении” с Государственной Думой, т. е. устанавливался режим совместного правления монархической власти и народного представительства, иначе говоря — парламентаризм.

Такое его решение было понято.

В ту пору Государственная Дума была в зените своей популярности, она была центром, к которому устремлялись все надежды и чаяния широких слоев русского общества.

Эта популярность за последнее время быстро возрастала не столько в силу заслуг и качеств Думы, сколько в силу бурно нараставшего недовольства деятельностью правительства и разочарования в носителе наследственной власти. Дума была как бы антагонистом этого опостылевшего, дискредитировавшего себя режима, поэтому на нее возлагали какие-то неясные, но страстные надежды. Революционно настроенные круги надеялись, что она станет притягательным центром для сил, борющихся за свержение режима, противники революции видели в ней единственную надежду выйти из обострившегося внутреннего кризиса в порядке мирного компромисса, путем эволюции, а не революционно-го взрыва.

Как на пример такой популярности Думы среди разных, иногда враждебных ей по задачам, групп населения укажу на следующий факт.

Когда 27 февраля, в смутный первый день революции, Родзянко собрал нас, членов Государственной Думы, в полуциркульном зале для обсужде-

ния вопроса, что делать, как реагировать на события, и предложил выбрать депутацию для переговоров с правительством, произошли бурные прения.

Большинство депутатов склонялось принять его предложение, исходящее, впрочем, от всего почти сеньорен-конвента, но нашлось достаточно депутатов, которые с этой лояльной тактикой не соглашались. Они требовали, чтобы Родзянко, вопреки указу о роспуске, открыл формальное заседание Государственной Думы в зале общих собраний, открыто бы тем встал на путь неподчинения указу, причем Дума, по их мнению, должна была встать на явно революционный путь, провозгласить себя „учредительным собранием”. Особенно яростно эту точку зрения проводил депутат Дзюбинский — эсер. Он ручался, что революционный гарнизон и рабочая среда как один человек поддержат Думу, признают ее „учредилкой”, будут считать ее источником революционной власти. Конечно, Дума ни по своему составу, ни по своим настроениям по этому пути пойти не могла, она и не пошла, но это настроение показывало, что в тот момент даже среди революционной демократии она пользовалась каким-то престижем, вызывала какие-то надежды.

Тем сильнее был ее престиж в кругах буржуазии и особенно среди военной среды. Недаром в первые дни революции все взбунтовавшиеся воинские части устремлялись самотеком к Думе, в ней они видели свое спасение и от нее они ждали установления какой-то новой, лучшей государственной власти.

Эти настроения в известной мере докатились до Ставки, отсюда решение Государя установить в момент отречения новую, чисто парламентарную форму правления, осуществлять которую был призван его брат, не связанный присягой сохранять незыбле-

мость „самодержавия”, что до него клялись делать наши Императоры при вступлении на престол.

Это выражение последней воли, можно сказать — политического завещания последнего Императора, не было ни понято, ни принято к исполнению Временным Правительством. Напротив, оно, предлагая В. Кн. Михаилу проект отречения от завещанного ему трона, постаралось изгнать из текста отречения указания на взаимоотношения между новым правительством и Думой. В этом тексте не было указания на правление „в единении с Государственной Думой”, это место, бывшее в отречении Императора, было заменено ничего не значащей фразой о передаче власти правительству, „по почину Государственной Думы” созданному. Таким образом текст отречения В. Кн. Михаила передавал как бы всю власть целиком Временному Правительству, делал его совершенно независимым от Думы, освобождал его от необходимости какого-либо с ней общения и сотрудничества в деле управления страной. Текст Государя вводил у нас не только конституционное, но и парламентское правление, текст В. Кн. Михаила, написанный лицами, приглашенными для того Временным Правительством, вводил режим „самодержавной” олигархии, передавал полноту власти небольшому числу лиц, ни пред кем не ответственных, ни на какие реальные силы в стране не опирающихся.

Эта политическая эквилибристика была понятна, хотя по существу недальновидна. Государственная Дума по составу своему была правее Временного Правительства, особенно его главы. Кн. Львов был чужой для Думы человек, она его мало знала, он ее не знал совершенно, не мог ей доверять. Но он понимал, что, останься она в положении источника

власти, у него неизбежно и немедленно возникнут трения с Совдепом.

Последний увидел бы в ней своего соперника, учреждение, опасное для его стремления захватить полностью власть. Временный Комитет и вышедшее из него Временное Правительство уже не казались ему опасными, эти люди уже доказали после истории с приказом № ПЕРВЫЙ, что они не видят противников слева, что в этом направлении они бороться не будут. Но революционная демократия имела основание опасаться Думы как учреждения, постоянно действующего и претендующего играть роль легального народного представительства в парламентарной стране. Дума могла издать декреты о ликвидации совдепов, могла побудить правительство вступить в борьбу с совдепчиками за власть, которую те явно стремились узурпировать.

При ее популярности в первые дни революции, при доверии, которым она пользовалась у буржуазии, чиновничества, особенно среди военных элементов, такая борьба правительства в защиту прав Государственной Думы и своих собственных могла легко кончиться победой власти, ликвидацией засилия совдепчиков. Последние это понимали и без борьбы не согласились бы на созыв Думы.

Кн. Львов вообще не был человеком борьбы, а на борьбу с левыми ни он, ни поддерживавшие его кадеты абсолютно не были способны. Упразднение Думы, установление собственного самодержавия пока что опасность этой борьбы устранили. Они и пошли по этому наиболее легкому пути.

Тем самым они упустили момент для укрепления своей, да и вообще государственной, власти, толкнули страну по скользкому пути революционного эксперимента, не использовали случай установить у нас режим парламентарного управления.

Таким образом последний жест последнего Императора, коим он вводил в России парламентарный строй, был аннулирован теми, кои годами вели борьбу с „самодержавием” якобы ради установления этого парламентарного строя. Вместо последнего они попытались, хотя бы на время, ввести правление „самодержавной” олигархии.

Лишенные моральной поддержки Государственной Думы, которая все же была народным представительством, хотя и цензовым, но уже привычным и хорошо известным стране, они попали в положение узурпаторов, захвативших силой и хитростью власть, никем по-существу не выбранных. А в то время только выборный принцип имел какой-либо престиж. В этом отношении совдепы имели пред Временным Правительством громадное преимущество: они были собранием выборных людей, пусть самочинной и нелегальной, но все же выбранной кем-то организацией.

Всего этого Временное Правительство не учло, проявило тем свою недалекость. А между тем после приказа № ПЕРВЫЙ оно должно было бы понять, что главная опасность для него и для всего государства — это совдеп, революционная демократия. Впрочем, многие члены Временного Правительства это отлично понимали, но соответствующих выводов сделать не были способны, для этого надо было бы вступить в немедленную борьбу с своим председателем.

Как бы то ни было, очень скоро стало всем ясно, а правительству лучше всего, что Временное Правительство есть пленник революционной демократии, что оно абсолютно не способно сопротивляться домогательствам последней, что оно может существовать, пока та его терпит.



С каждым днем это положение становилось все более ясным, и окончательно оформилось к концу второго месяца власти Временного Правительства.

Как раз в это время под давлением слева правительство решило оформить в официальном акте те требования, те задания, кои оно ставит для своей внешней политики в связи с великой войной.

Министром иностранных дел был Милюков, единственный, быть может, из членов правительства еще не утративший чувства ответственности за судьбы государства. Естественно, те положения, те задачи, кои он наметил в этом документе, не могли прийти по вкусу революционной демократии, которая явно встала уже на путь „без аннексий и контрибуций”. Она и решила протестовать, провести Временное Правительство под ярмом.

Как только стал известным текст документа нашего мин. иностранных дел, она зашевелилась. Члены петроградского Совдепа полетели в казармы, начали агитацию среди разнузданной солдатни. На другой же день два запасных полка, финляндский и балтийский флотский экипаж, вышли на улицу. Несколько тысяч вооруженных людей в военной форме двинулись к Мариинскому Дворцу, где тогда заседал Совет Министров. В воздухе развевались красные тряпки, слышались крики: „Долой министров-капиталистов”, „долой Гучкова и Милюкова”. Правительство было охвачено паникой. Правда. Военное министерство, руководимое Гучковым, уже тяжело больным сердечной болезнью, приняло меры к подавлению бунтарского выступления. Корнилов, который тогда еще был начальником петроградского гарнизона, мобилизовал спешно кое-какую воинскую силу, притом вполне надежную. Тут были некоторые кавалерийские части, еще не распропагандированные, батальоны юнкеров, специаль-

ные войска и т. д. В общем собрался достаточный и верный власти кулак, который можно было и нужно было немедленно пустить в дело, разогнать собравшихся на Мариинской площади бунтарей карточью и пулеметами. Власть это сделать могла, она должна была воспользоваться этим, быть может, последним случаем сломить революционную демократию. Но этого не произошло.

Совдеп, конечно, узнал о приготовлениях Корнилова, прекрасно учел всю безвыходность своего положения, если бы собранные силы были введены в действие. Он принял экстренные меры. Одни его представители полетели к главе правительства, прося запретить военным применять силу, обещая ликвидировать выступление „по-хорошему”. Другие нажали на восставших, чтобы те убрались, пока целы, третьи посещали казармы, убеждали солдат, что отныне они, совдеповцы, принимают ответственность за покой в столице, что поэтому без их формального ордера ни одна часть не может выходить из казарм, исполнять какие-либо воинские задачи. Кн. Львов, конечно, обрадовался возможности ликвидировать инцидент без борьбы, без крови, без необходимости нанести удар по близким его сердцу демократам. Правительство тотчас отдало приказ частям, собранным Корниловым\*, возвратиться в казармы, оставить улицу на усмотрение черни, воспользовавшейся выступлением двух мятежных частей, чтобы примазаться к движению. Правда, восставшие полки, проделав свою демонстрацию, мирно вернулись в казармы согласно указке Совдепа. Но порядок далеко не был восстановлен.

---

\* Почти сразу после описанных событий разочарованный ген. Корнилов добился своей смены и уехал на фронт, где принял командование 8-ой армией. — Р е д.

Не только неорганизованная чернь, но и Ленин воспользовался этим выступлением. Когда днем и вечером взбаламученная столица, инстинктивно понявшая, что произошло что-то необычайной важности, высыпала на улицы, где чередовались митинги в пользу и против Временного Правительства, вдруг появилась еще невиданная сила — вновь организованная Лениным красная гвардия.

То было отрестеблие столицы с некоторой прослойкой партийных работников большевистской партии. Вооруженные винтовками, эти люди прошли по улицам с криком и революционными песнями, они без всякого повода открывали порою огонь против беззащитной толпы и даже против невооруженных солдат, запрудивших Невский. Смысл этого дикого выступления был непонятен, разве только Ленин захотел тем подчеркнуть свое бытие.

Возмущение было всеобщее, особенно в казармах.

Если бы кн. Львов пожелал воспользоваться этим общим чувством негодования против первого выступления большевиков, он легко мог бы ликвидировать раз навсегда и красную гвардию, и самого Ленина, и всю анархическую банду в столице.

Но опять он ничего не сделал, опять дал событиям идти своим естественным ходом. Еще раз не воспользовался представившимся выгодным обстоятельством, довел до конца свою политику неиспользованных возможностей. Это было упущенным случаем, который правительство имело, чтобы спасти свой авторитет, чтобы предохранить страну от бурно надвигавшейся анархии, логическим последствием которой явился большевизм.

С первых же дней вступления во власть Временного Правительства члены Думы стали понимать,

что они остались не у дел, что правительство систематически игнорирует и самую Думу и ее Временный Комитет, который еще недавно породил это самое правительство. Правда, правительство иногда пользовалось еще не изжитым престижем депутатского звания. Когда где-либо волна мятежа и анархии переходила все границы, когда его собственного авторитета было недостаточно, оно обращалось с просьбой к тому или иному депутату поехать в такое неблагоприятное место, выступить на соответственном митинге, урезонить толпу, чаще всего солдат или матросов.

По старой памяти толпа встречала таких ораторов довольно благожелательно, их выслушивали и кричали „ура”, но значения от таких выступлений было мало, масса чувствовала свою силу, беспомощность правительственной власти, ей было приятнее идти за выступавшими вслед за депутатом ораторами от Совдепа, которые сулили непосредственные выгоды, а не обращались к патриотизму и сознанию долга пред страной. Словом, толку не было и это отлично сознавали депутаты, выполнявшие поручения правительства по части „уговаривания”.

В то же время не было и речи о созыве Государственной Думы как учреждения, ее правительство бойкотировало.

Среди нас началось недовольство, проявлявшееся остро в нападках на председателя, который-де не хочет добиться созыва Государственной Думы. Родзянко отбивался от упреков, доказывал, что в условиях современной анархии созыв Думы невозможен, что он вызовет открытое столкновение с Совдепом при невыгодных для нас условиях, т. к. правительство определено враждебно возобновлению сессии Думы, по крайней мере в настоящий момент.

Сам он тоже очень тяготился бездействием в минуту, когда события шли с головокружительной быстротой, когда все устои государства явно расшатывались, когда авторитет правительственной власти и особенно командного состава армии стремительно разрушался под влиянием бездействия правительства кн. Львова и социалистической агитации. Он сам считал, что правительство могло бы реагировать против натиска слева, только опираясь на Думу, поэтому он старался побудить председателя Совета Министров созвать ее как можно скорее.

Но тут он встретил определенное сопротивление. Кн. Львов не желал идти на ссору с Совдепом, не желал вступать в борьбу из-за попытки „гальванизировать политический труп”, как тогда выражались в противодумских кругах. Он ставил ставку на левые круги, видел в них новую растущую силу, старался поладить с ней „по-хорошему”. Всю свою политическую карьеру он сделал, опираясь на левую ногу, революционная волна вынесла его на вершину власти, он и дальше думал делать свое счастье, лавируя все левее и левее. Дума могла быть только помехой, он от нее и отмахивался. Но не будучи человеком открытой борьбы, привыкшим устраивать свои дела при помощи лавирования, он не решался грубо отклонить настояния Родзянко, он приводил доводы в пользу лишь отсрочки, тянул дело, откладывал решение.

В конце концов, видя нетерпение председателя Государственной Думы, подхлестываемого в свою очередь настояниями членов последней, кн. Львов пообещал созвать Думу 27 апреля, в день десятилетия открытия заседаний Государственной Думы первого созыва.

На первых порах среди нас был заметный подъем настроения, начали на что-то надеяться.

Однако этот оптимизм очень скоро рассеялся.

Стало известным, что и тут кн. Львов нашел изворот, извилистый выход из трудного положения.

И он, и особенно революционная демократия могли справедливо опасаться начала новой сессии Думы, если бы таковая была созвана как регулярно действующее народное представительство. Созвать его было легко, но разойдется ли оно после первого, чисто юбилейного заседания, никто предвидеть не мог.

Конечно, в случае нужды Думу можно было разогнать, если бы она захотела продолжать свои занятия, но это было бы уже актом силы, началом открытой борьбы, хотя бы и совершенно безопасной и беспроегрешной для объединенных сил правительства и революционной демократии. Но такой акт открыто бы выявил расхождение правительства с буржуазными кругами, еще не доказавшими своего полного политического бессилия. Кн. Львов не склонен был вступать с кем-либо в борьбу, он ловко обошел препятствие, опасность. Он просто решил, и сообщил это решение Родзянко как факт, что в юбилейном заседании 27 апреля примут участие не только члены юридически действующей Государственной Думы, но и все те депутаты первых трех Дум, кои окажутся в этот день в столице. Этим решением заседание утрачивало характер легальной сессии законодательного учреждения, оно превращалось в простой митинг членов всех Государственных Дум, причем в одну кучу соединялись и те депутаты, кои еще принадлежали к юридическому действующему законодательному учреждению, и те, полномочия коих давно истекли, у одних почти пять, у других шесть или семь лет тому назад.

Вместе с тем отпадало всякое опасение левых кругов, что на этом заседании Дума примет какое-

либо постановление, будь то даже чисто платонического свойства. Митинг есть митинг и больше ничего, с ним не нужно было вовсе считаться.

Родзянко мог отказаться от этой комбинации, мог вступить на этой почве в конфликт с властью, заявить, что ни он, ни председательствуемая им Государственная Дума не могут принять участие в таком митинге. Но он этого не сделал, на предложение кн. Львова согласился.

Отчасти он не понимал, куда тот клонит, отчасти не считал возможным в это роковое время выступить в чем-либо против Временного Правительства, и без того ослабленного и колеблющегося под напором революционной демократии. Он говорил, что надо это правительство подкрепить, дать ему возможность поддерживать свой авторитет, продолжать ведение войны.

Как бы то ни было, это юбилейное заседание членов четырех Государственных Дум состоялось 27 апреля 1917 года.

Открыл его Родзянко, рядом с ним сидели бывшие председатели Второй и Третьей Дум.

Народу было много, ложи полны представителями революционной демократии, пришедшей поддержать своих немногочисленных единомышленников.

Полились речи, красивые по форме, никчемные по существу. Представители разных политических группировок всех Государственных Дум соперничали в красноречии, в словоизвержении, которому они сами не придавали никакого значения. Сразу стало ясно, что эти речи по значению можно было приравнять к застольным спичам на похоронном обеде. Хоронили торжественно знатного покойника, до которого по существу собравшимся нет дела, о котором они не жалеют в душе.

На меня произвели известное впечатление лишь четыре речи. Первую из них произнес Винавер. Его я слышал впервые. Он был хороший оратор, с темпераментом. Вторая речь, произведшая на меня впечатление, была произнесена Гучковым. Он еще был, кажется, военным министром, но уже решил подать в отставку, видя свою беспомощность остановить развал армии. Он был хороший оратор, но его речи всегда обращались к уму, а не к чувству слушателей, на толпу они мало действовали, это были речи для избранных. На этот раз он говорил с большим темпераментом, с дрожью в голосе. Сущность речи была та, что Россия в величайшей опасности, что политика власти и работа революционной демократии ведут к катастрофе. Он кончил возгласом, что Родина не только в опасности, но что она на краю гибели. Его призыв к патриотизму не был услышан левыми, они встретили его речь холодно, враждебно. Речь председателя кн. Львова тоже произвела на меня удручающее впечатление, но совсем по иным основаниям. Он не говорил ни о трудности положения Родины, ни о необходимости сделать все возможное, чтобы прекратить работу крайних элементов по разрушению армии. Он слишком хорошо понимал настроение левой аудитории, играл на их струнах. Он говорил о своем оптимизме, пел дифирамбы революции. Он кончил возгласом, что-де „свобода, я никогда в тебе не разочаруюсь”. Этот показной оптимизм главы власти доказывал, что нет ни малейшей надежды на поворот в линии поведения правительства, что оно не сможет, да и не захочет воздвигнуть преграды разрушительному потоку слева, управляемому людьми, прибывшими в заплombированном вагоне. Было ясно, что впереди все мрачно в этой обреченной стране.



Последнюю речь, которую я еще помню, произнес депутат Четвертой Государственной Думы Скобелев. Это был социалист второго сорта, плохой оратор, не игравший, видимо, большой роли даже в своей среде. Его внезапно вынесли на поверхность события 27 февраля, он и старался держаться на гребне мутной волны. В его речи было ценно последнее место, он сказал: „Государственная Дума сделала свое дело, Государственная Дума умерла, да здравствует Учредительное Собрание”. Эти слова были встречены бурными долго не смолкавшими аплодисментами райка. Видимо, вся его речь была заранее построена для этих слов, для этого заключения. Она, вероятно, была заранее согласована с главарями революционной демократии.

Это был осиновый кол, который надо было забить в спину „политического трупа”.

Вскоре после этой речи заседание было закончено, по крайней мере память моя ничего особенного больше не отметила. Все остальное и прежде и после было переливанием из пустого в порожнее.

Политическое значение юбилейного заседания было сформулировано в этих словах Скобелева, больше говорить было нечего.

Мрачные и подавленные разошлись мы с этого похоронного юбилея.

## НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО МОРСКОГО МИНИСТРА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ И ДВА СОВЕЩАНИЯ

В первые дни революции, когда борьба далеко еще не была окончена, когда эшелоны ген. Иванова еще двигались к Петрограду усмирять „бунт”, а царский поезд метался между Бологое и Псковом в тщетной надежде добраться до Царского Села, Вре-

менный Комитет Государственной Думы начал переговоры с президиумом Совдепа о формировании нового министерства. С первого взгляда, такая поспешность казалась непонятной и недопустимой неосторожностью. Ведь борьба с царской властью не была закончена, все дело революции висело на волоске, для ее успешного завершения нужна была прежде всего сплоченность всех революционных сил, их тесное сотрудничество, для возможности коего нужно было избегать всего, что могло внести раздоры в среду революционеров, вызвать между ними раскол. А как раз создание новой власти, образование революционного министерства, было такой темой, которая могла привести к острой борьбе двух уже явно обозначившихся и явно друг другу не доверявших революционных центров.

Между тем вопрос о создании министерства был поднят едва ли не на второй день революции, причем инициатива исходила от Временного Комитета. Эта поспешность объясняется той психологией и моральной подавленностью главарей Временного Комитета, которая явно обозначилась первого марта. По внешности Временный Комитет и особенно его председатель были мозгом и сердцем революции, ее распорядительным центром, откуда шли все директивы по революционной линии. Но это было только обманом зрения, все шло как-то самотеком в результате частной инициативы отдельных лиц и групп, причем симпатии масс явно склонялись в сторону нового органа — Совдепа. Временный Комитет это очень скоро почувствовал, учел фактическую силу своего соперника, но в то же время не понимал того, что, видимо, инстинктивно оценил его конкурент. Именно — Временный Комитет, пока историческая власть не отреклась от своей миссии возглавления векового строя, являлся той ширмой, тем фа-

садом революции, которые единственно могли побудить ближайших слуг и естественных защитников царского правительства, ослабив силу сопротивления, искать компромисса с движением, которое иначе они вынуждены были бы стараться сломить хотя бы силой оружия, ценою гражданской войны. Поэтому Временный Комитет недооценивал своего значения в лагере восставших и чувствовал себя не в силах взнудать разбушевавшуюся стихию.

Психологически Родзянко не был подготовлен к роли возглавителя революции, которую он столько лет ненавидел и которой всегда опасался. Если он в минуту душевного потрясения очутился в этой несвойственной ему роли, то это несчастное для него стечение обстоятельств не могло сразу изменить его духовную сущность. Он оставался далек и чужд силам, которые он пытался возглавить, ввести их по возможности в государственное русло. Но с каждой минутой, когда корабли были уже сожжены, он все более и более чувствовал свою отчужденность от стихии, не доверял ей, как и она ему не доверяла. Бродя во второй день революции среди возбужденной толпы, я по крайней мере уже слышал, как какие-то юркие господа агитировали в толпе: „Родзянко владелец латифундий, у него 50 тысяч десятин, не верьте ему, он тянет руку помещиков и эксплуататоров”.

Чувствуя инстинктивно свою беспомощность в деле взнудания взбаламученной народной стихии, не имея сильно развитого инстинкта власти и воли к борьбе на два фронта, Временный Комитет пришел к привычному для представителей русской общественности решению: создать какой-то исполнительный орган, выделить какую-то организацию, — конечно, коллективную, — коей и передоверить и свою власть, и взятую на себя неосторожно несвой-

ственную роль, возложить заодно на нее ответственность за могущие быть последствия. Словом, пошли по проторенной дорожке, когда дело осложняется, сдать его в комиссию. Такою комиссией на этот раз должно было быть новое министерство.

Но провести это в жизнь оказалось не так-то просто. Совдеп заупрямился. Не то чтобы он был против, нет, но он хотел сказать и свое слово. Перессорились прежде всего по вопросу о тексте воззвания к населению, которое должно было сопутствовать публикации списка министров.

Отношения сразу обострились, в Таврическом Дворце это остро почувствовали. Но в то время Временный Комитет представлял собою еще большую силу, его влияние на солдат было еще велико. Когда член Государственной Думы Караулов попытался, как он сам мне в этом потом признался, послать агитатора проповедовать солдатам идею отстранения Временного Комитета и передачи власти Совдепу, то солдаты чуть не растерзали говорившего, приняв его за провокатора. Совдеп, стоявший неизмеримо ближе к массам, это учитывал. Ему нужно было прежде всего завладеть солдатской массой, как он уже владел рабочей средой. Он поторопился выпустить пресловутый приказ № ПЕРВЫЙ, с помощью коего он рассчитывал разложить армию, противопоставить солдат офицерству, подорвать влияние последнего. Вместе с тем он учитывал, что офицерство идейно гораздо ближе к Временному Комитету, чем к Совдепу, что в возможном столкновении двух центров революции оно встанет скорее на сторону Временного Комитета. Поэтому надо было его ослабить, запугать, отделить от солдатской массы. Если бы Временный Комитет, что было вероятно, встал на защиту офицерства, то это было бы удобным и верным средством подорвать оконча-

тельно влияние Временного Комитета среди солдат, что привело бы к полному торжеству Совдепа. Так оно и вышло. Временный Комитет был глубоко возмущен приказом, он даже проявил какое-то неясное желание действовать решительно и против приказа и против его авторов. Но тут главари Совдепа проявили большую дипломатическую сноровку, они выразили готовность взять назад приказ, который в сущности уже свое дело сделал, заявили свою несолидарность с его прямыми авторами, словом, повели переговоры, затягивали дело, пока воинственные пары членов Временного Комитета не выдохлись.

После этого акта можно было считать, что престиж Временного Комитета был окончательно сломлен, всем стало ясно, по крайней мере в Таврическом Дворце, что истинным там хозяином является не он, а Совдеп.

Последний заставил Временный Комитет пройти под ярмом: спорный пункт о невыводе из Петрограда революционного гарнизона был в конце концов принят Временным Комитетом, причем солдатская масса, не имевшая ни малейшего желания идти на фронт, увидела в Совдепе своего защитника и покровителя против „империалистических тенденций” буржуазного Временного Комитета. С момента издания этого обращения к населению дело Временного Комитета было окончательно проиграно; он перестал быть опасным Совдепу.

Вместе с тем до крайности облегчился вопрос о создании нового министерства, которое, выйдя из недр Временного Комитета, уже не пугало совдепчиков, а известную пользу в продолжающейся еще борьбе могло принести.

Переговоры отныне пошли гладко. На пост председателя давно был намечен кн. Львов. Еще в пер-

вый день революции — 27-го февраля — я говорил с Милюковым о возможном составе нового министерства, тогда еще конституционном правительстве, и назвал имя Родзянко, но получил в ответ решительный отказ, причем единственным кандидатом являлся якобы кн. Львов. Так же легко были намечены кандидатуры Керенского, Терещенко и Гучкова.

Почему выплыл Терещенко, человек совершенно чуждый тогдашней политической среде, я понять не мог. Гучков стоял уже во главе органа, призванного бороться с подходившими эшелонами ген. Иванова, он был председателем Комиссии по обороне в Третьей Государственной Думе и председателем Военно-промышленных Комитетов во время войны, поэтому его назначение военным министром было естественно. На пост морского министра, по словам Родзянко, предназначали меня. Для меня это было полной неожиданностью, я никакого участия в революции не принимал. Я немедленно отказался, несмотря на то, что некоторые члены Временного Комитета на том очень настаивали. В конце концов так и не нашли кандидата на пост морского министра и в момент окончательного формирования министерства, уже после отречения Государя, исполнение обязанностей морского министра возложили на Гучкова, который таким образом должен был возглавить два министерства, что, конечно, было ему непосильно, тем более, что его здоровье в этот момент заставляло желать лучшего. Он только недавно перенес тяжелую сердечную болезнь, которая едва не свела его в могилу, и все еще не вполне оправился.

Когда после условного отречения Михаила Александровича вступил во власть новый состав Совета Министров, который принял название Временного

Правительства и в силу акта отречения, составленного бароном Нольде, объявил себя облеченным полностью прав, пред Гучковым\* встал вопрос, как организовать управление двумя министерствами, из коих каждое требовало в условиях продолжающейся войны напряженной работы, особенно после революции, отразившейся губительно на дисциплине армии и флота. Он вызвал меня, у нас опять было несколько разговоров, я понял, что он хотел бы возложить на меня обязанности морского министра, но я опять уклонился. Тогда он решил избрать себе энергичного и знающего флот помощника в деле управления морским министерством, чтобы передоверить ему всю технику этого дела, сохранить за собою лишь политическое и общее руководство, а также представительство интересов ведомства в Совете Министров.

В силу этого решения он отправился немедленно после вступления в должность в адмиралтейство, причем я должен был ему сопутствовать в качестве постоянного докладчика по морской смете, знакомого почти со всем личным составом министерства. Пред тем у нас был короткий разговор, в коем обсуждались возможные кандидатуры на пост старшего товарища морского министра. Выбор это был до крайности затруднен наступившим во флоте революционным брожением. Флот всегда был революционно настроен. Нижние чины комплектовались преимущественно из рабочих больших металлургических и механических заводов, т. к. морское министерство утверждало, что из этого элемента легче и скорее вырабатывались хорошие специалисты, главная сила современного флота. С этой тенден-

---

\* См. ниже письмо А. И. Гучкова ген. Д. В. Филатьеву.—  
Р е д.

цией я вел в Думе многолетнюю борьбу, т. к. мне было ясно, что рабочие представляют собою опасный элемент, уже распропагандированный с давних лет на заводах. Почти все они были склонны к социалистическим бредням, а так как надзор командного состава был в условиях судовой жизни очень затруднительным, если не невозможным, то малопомалу флот заполнялся сплошь элементом мало надежным, революционно настроенным и враждебным существовавшему социальному и государственному строю, а т. к. офицерство считалось опорой последнего, то, естественно, против него шла неудержная агитация, особенно среди машинной и кочегарной команды. Но все попытки изменить систему комплектования оставались тщетными. К моменту революции в состав команд было влито много запасных, которые после отбытия службы во флоте служили на заводах, где материально были хорошо обставлены. Теперь они два с половиной года сидели на судах, а их семьи голодали. Естественно, почва для агитации была подготовлена, она и началась очень скоро после начала войны. Это лучше всего было показано случаем с броненосцем „Славой”, посланным в Рижский залив, причем на этом переходе, когда на горизонте показалось какое-то трехтрубное судно, принятое сперва за немецкий крейсер „Роон”, на броненосце вдруг оказалось выключенным все электричество. Если бы в этот момент произошел бой, корабль стал бы добычей более слабого врага. К счастью, то был наш „Рюрик”. Это дело явно указывало на известное неблагополучие в смысле настроения части команды. Но большинство было лояльно и дело шло благополучно вплоть до революции, когда крайние элементы, организованные тайно агентами врага, подняли голову и захватили дирижерскую палочку.



Чтобы как-то справиться с положением, нужно было иметь человека твердого и вместе с тем достаточно популярного во флоте. Перебирая возможных кандидатов, мы остановились на трех фамилиях, адмиралах Колчаке, Кедрове и Бахиреве. Каждый имел свои достоинства и недостатки. Колчак пользовался популярностью, но его присутствие в Черном море считалось необходимым, т. к. только его влиянию можно было приписать то, что черноморцы сохранили полную дисциплину, несмотря на революцию. Непенин, наиболее подходивший на этот пост, был уже убит, по-видимому, переодетым немецким агентом. Бахирев был прекрасный строевик, но пользовался славой слишком сурового морского волка, недостаточно гибкого в революционных условиях. Оставался Кедров.

Когда мы прибыли в морское министерство, мы прошли к адм. Григоровичу, который продолжал жить в адмиралтействе. Я его с трудом узнал, так он осунулся за это время. Начался общий и дружественный разговор об организации морского министерства на будущее время, перебирались кандидатуры на различные посты в министерстве, на которых в условиях революции нельзя было бы сохранить прежних лиц. Григорович дал приблизительно ту же характеристику кандидатов, что и я. Тут же, на этом совещании, были намечены главнейшие перемены и назначения, кои были неизбежны. В том числе товарищем морского министра было решено назначить Кедрова.

При выходе от Григоровича мы увидели на стене приказ № ПЕРВЫЙ, который никто не решался снять. Гучков подошел к стене и в присутствии писарей, самого революционного элемента, сорвал приказ и бросил на пол, сказав, что приказы будут

отдаваться им и только им, а не самочинными организациями.

Затем Гучков произнес краткую речь собранным чинам ведомства и мы удалились. Пред тем, впрочем, он утвердил в должности командующего флотом „красного адмирала” Максимова, только что выбранного экипажами.

После отречения Государя и формирования Временного Правительства, пользовавшегося на бумаге полностью административной и законодательной власти, Государственная Дума как учреждение перестала существовать, с нею больше не считались, ни разу ее не собирали. Вместе с тем, мы, октябристы, представители ее руководящего центра, перестали играть какую-либо роль во внутренней жизни страны. В составе нового правительства наших представителей не было, т. к. Гучков уже давно состоял членом Государственного Совета и политически разошелся с нашей фракцией, а Годнев давно из нее вышел, войдя в состав небольшой группы, именованной „левыми октябристами”, фактически шедшей на буксире кадетской фракции.

Тем не менее правительство кое-когда привлекало некоторых членов нашей фракции, если не для решения, то хоть для обсуждения отдельных важных вопросов текущей политики.

Первое такое наше участие в правительственном совещании произошло в самом начале деятельности Временного Правительства.

Как известно, Государь перед своим отречением подписал приказ о назначении В. К. Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим. Великий Князь немедленно выехал в Могилев, но вступить в командование не успел, дорогой он получил уведомление, что Временное Правительство не находит

возможным при сложившихся обстоятельствах его вступление в исполнение обязанностей Верховного.

Время было военное, оставлять незамещенным пост Верховного было невозможно, надо было немедленно выбрать другого кандидата на этот пост. Вот для решения этого важного вопроса правительство созвало особое совещание с участием нескольких членов Государственной Думы, в том числе были приглашены Родзянко и я.

Заседание совещания состоялось в том помещении Мариинского Дворца, где когда-то собиралась согласительная комиссия Государственного Совета и Государственной Думы, где еще так недавно мне приходилось тщетно отстаивать сравнительно робкие попытки либеральных новшеств, принятые Думой и встречавшие непреодолимое сопротивление со стороны правых членов Государственного Совета, главным образом членов по назначению. Невольно, переступив порог этой комнаты, я вспомнил это недавнее время, контраст с коим резко подчеркнул только что пред тем состоявшееся заседание Особого Совещания по Обороне под председательством Гучкова, первого революционного военного министра. Когда он вошел в уже полный зал, почти все присутствующие встретили его громом аплодисментов, причем особенно усердствовал один член Государственного Совета по назначению, принадлежавший ранее к группе крайних правых.

Совещание открыл кн. Львов, давший краткое резюме положения, побудившего правительство отстранить В. Князя от Верховного Командования и сообщивший решение правительства избрать заместителя В. Князя после обсуждения возможных кандидатур в настоящем совещании.

Затем Гучков, как военный министр, дал краткий обзор положения и возможных кандидатур,

характеристику некоторых генералов, пользовавшихся популярностью.

Из его речи я вывел заключение, что, хотя совещанию никакого имени не навязывалось, но выбор правительства, по-видимому, уже сделан, по крайней мере Гучков явно склонялся к назначению ген. Алексева.

Имя ген. Алексева было хорошо известно, его роль и заслуги в течение великой войны были у всех на виду, его позиция в момент последних событий, приведших к отречению Государя, была нам, присутствующим на заседании, ясна. Поэтому выбор правительства был понятен, для него Алексеев был свой человек, хорошо известный, уже фактически выполнявший обязанности Верховного Командования в качестве начальника Штаба при Государе, который, как все знали, был только номинальным командующим.

Но лично мне эта кандидатура не нравилась.

Я знал, что Алексеев за последнее время сильно болел, что его болезнь, затяжная и изнурительная, не может быть излечена без трудной операции, которая должна вывести пациента из строя на очень долгий срок. Правда, генерал, обладая сильным характером, пренебрегал своим здоровьем, не обращал внимания на свои страдания, продолжал работать как прежде, но это не могло не отразиться на его психике, на характере его деятельности. Между тем положение с каждым днем осложнялось, Верховному теперь надо было вести борьбу не только против внешнего врага, далеко не сломленного, но и против внутреннего, а именно — против элементов, стремившихся разложить фронтовую армию так, как они уже успели разложить петербургский гарнизон.

Это мог выполнить только человек очень сильный физически и морально, спокойный и решительный, притом уверенный в себе, еще не сломленный тягостными переживаниями военного времени и последних событий.

Словом, я считал, что Алексеев уже до дна использованный человек, что новая задача, которую на него хотят возложить, уже ему не по плечу, что надо искать другого, более молодого и сильного волей человека.

Из всех наших высших военачальников останавливали на себе мое внимание два генерала — Гурко и Юденич, первого я знал лично еще в период Третьей Государственной Думы, о втором мог себе составить впечатление только на основании тех сведений, кои притекали ко мне с Кавказа за время войны. Оба они были сравнительно молоды, оба физически крепкие люди, оба обладали большой силой воли. Но из двух я отдавал предпочтение Юденичу. Все его операции на Кавказском фронте, за которыми я все время следил с захватывающим дух вниманием, доказывали два свойства его характера: 1) верность суждения, умение быстро ориентироваться и разбираться в сложных и трудных обстоятельствах и 2) умение спокойно принять ответственное решение и с непреклонной волей довести до конца раз намеченный план действий. Эти его свойства — хладнокровие, энергия и последовательность в осуществлении принятого решения — меня подкупили, и я решительно высказался за его кандидатуру.

Когда я кончил, царило неловкое молчание, как будто я сделал какую-то ужасную гафу, какую-то непростительную бестактность. Гучков молчал, но заговорил Керенский. Он был министром юстиции, но его голос уже доминировал, видимо, даже в

военных вопросах. По крайней мере он мне решительно и без обиняков ответил, что никогда подобного назначения быть не может, нельзя в такое смутное и тревожное время назначать Верховным подобного „бурбона”, каким был якобы Юденич.

Я ждал, что меня поддержит Родзянко, но и он высказался за Алексеева, около имени коего таким образом объединились все присутствующие, кроме меня.

Вопрос был решен и мы разошлись.

Прошло около двух месяцев.

Опять Родзянко передал мне, что правительство приглашает его и меня для участия в совещании, которое будет иметь место в Мариинском Дворце и на которое прибудут приезжающие с фронта четыре Главнокомандующие.

Когда я пришел во Дворец к указанному сроку, я застал там Совет Министров, ряд виднейших лидеров Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Скоро прибыли генералы — Алексеев, Гурко, Драгомиров и Щербачев.

Гучков, который еще был военным министром, но уже подумывал об отставке, сказал вступительное слово, он указал на растущий развал армии, на быстрое падение дисциплины на фронте и в тылу, на величайшую опасность, которая является следствием пропаганды социалистических элементов в окопах и в казармах. Я понял, что настоящее заседание имело целью убедить „товарищей” прекратить разложение армии и помочь генералам ввести какой-либо порядок на фронте.

Затем слово было предоставлено генералам. Первым говорил Алексеев. Он был в этот момент уже сломленным человеком, уже не способным к борьбе за спасение армии, он мог только убеждать „товарищей”, молить их не губить армию. Он подробно

обрисовывал положение на фронте, указывал на необходимость срочных мер к установлению порядка и дисциплины. Надо прибавить, что правительство к тому времени ввело закон, упразднявший смертную казнь даже на фронте, чем был нанесен смертельный удар дисциплине и самой возможности продолжать войну. Эта нелепая мера была проведена без видимого протеста со стороны высшего управления военного ведомства. Теперь начали пожинать ее плоды.

После Верховного говорили другие генералы, командовавшие фронтами. Особой разницы в их речах я не видел, повторялись те же самые аргументы, преподносились те же выводы под разными соусами. Меня только несколько удивило выступление Драгомирова, видимо, очень искреннего человека, но уже сильно изнервничавшегося. Когда он говорил, в голосе слышались спазмы истерического характера, на глазах были слезы.

Он, видимо, страшно скорбел за армию, за родину, но это выявление истерии показывало, как износился нервно наш командный состав.

Генералам отвечал один из „товарищей”. Я и сейчас не могу сказать, кто это был, тогда я так был возмущен его речью, встреченной восторженно его коллегами, что немедленно после нее ушел, даже не спросил, кто автор. Но это был, видимо, один из лидеров социалистов, т. к. он говорил „мы” и они его апробировали. В его речи явно сквозила яркая германская ориентация, он говорил не о войне, а о необходимости немедленного мира, сепаратного мира, если нельзя заключить общего. Обращаясь больше к правительству, чем к генералам, он говорил приблизительно следующее: „Вы не способны дать народу то, что он требует, именно — немедленный мир. Мы это сделать можем, уступите нам власть”.

Вот мысль его довольно длинной речи, остальное было обычной варьяцией на социалистическое красноречие. У своих коллег он не вызвал протеста, напротив. Ясно стало, что вся эта недостойная комедия с попытками убедить заведомых пораженцев ни к чему привести не может, с ними можно было разговаривать только на языке силы, моральной и физической, чего у правительства уже не было, как не было и у главного командования. Я видел потом в вагонах этих генералов пред их отъездом, они были мрачнее тучи. Гурко определенно выразил то, что они думали. Он сказал: „Без крови не обойдешься, притом придется пролить много крови”. Это было верно по существу, но уже неисполнимо.

Очень скоро после того Гучков подал в отставку, военным министром стал Керенский, Гурко вылетел в отставку.

Гучков опять встал во главе Военно-промышленного Комитета, но теперь работа там была одним разочарованием, влияние „товарищей” на рабочую среду сводило на нет все усилия работников Комитета. Как-то я к нему зашел и застал в крайне угнетенном состоянии. Помню, он верно анализировал положение, признавал неизбежность разгрома России, гибели всего, что нам было так дорого, за что мы столько лет боролись. Тогда он уже понял, что 27 февраля было началом ликвидации Великой России.

## ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ

В середине лета 1917 г. результаты „великой и бескровной” стали ясны для всякого здравомыслящего обывателя. Развал в тылу был полный, фактически все органы правительственной власти были



в параличе, администрация под мудрым управлением министра внутренних дел давно перестала существовать. Временное Правительство после ухода Гучкова и вынужденной левыми отставки Милюкова существовало больше для видимости, оно решительно капитулировало перед революционной демократией, держалось только по милости последней.

Хуже всего было то, что процесс распада начал захватывать самую армию, под неослабным воздействием пропаганды социалистов всех мастей авторитет командного состава быстро падал, дисциплина разрушалась вконец. Правительство не реагировало. Правда, сперва пробовали „уговаривать” солдатню, посылали на фронт кое-кого из левых депутатов говорить никчемные речи, но скоро убедились, что ораторы большевиков и левых эсеров имеют над ними решительный перевес. Сам командный состав был бессилен, отмена смертной казни в разгар войны выбила у него аппарат воздействия, а без террора вообще воевать нельзя.

Большинство членов Государственной Думы разбрелись, кто куда. Ведь мы знали, что нас больше не соберут, что песенка наша спета. Но несколько человек оставалось в Петрограде, главным образом члены Особых Совещаний, кои пытались продолжать работу, ставшую, правда, беспредметной вследствие остановки боевых действий на фронте и поведения рабочей среды в самой стране.

Мы по-прежнему продолжали собираться почти ежедневно в Таврическом Дворце у Родзянко, коему было отведено маленькое помещение на задворках Дворца. Здесь мы обменивались текущими новостями, узнавали, что делается на фронте. К Родзянко по старой памяти заходили иногда члены социалистических фракций Думы, от них мы узнавали, что делается и говорится в Совете Рабочих и

Солдатских Депутатов, куда они были вхожи и где имели связи.

В конце июня они начали передавать слухи, что в казармах и на фабриках идет пропаганда в пользу устройства „варфоломеевской ночи”, т. е. попросту резни „цензовиков”, буржуев, министров-капиталистов и прочей „контры”. Агитацию эту вели сторонники левого течения Совдепа, главным образом приверженцы Ленина и прочей банды, прибывшей в запломбированном вагоне.

Мы относились к этим слухам легкомысленно, но они, видимо, имели кое-какие основания, т. к. наши левые коллеги были очень озабочены, а ведь они принадлежали к группировкам, господствующим в Совдепе, пока еще оборончески настроенным и не желавшим открытой резни. Было ясно, что они начали бояться своих большевизанствующих товарищей, тем более, что власть теряла всякий авторитет. Правда, казарма в большинстве еще была верна умеренным лидерам Совдепа, большинство солдат еще открыто исповедывало эсеровскую веру, но можно было опасаться, что, перейди большевики от слов к открытому выступлению, никто им не окажет сопротивления, т. к. во главе правительства стоял по-прежнему кн. Львов, уже доказавший, что бороться с эксцессами слева он не может и не хочет. Время шло, ничего страшного не случилось, мы начали успокаиваться. Однажды утром, это было в начале июля, я по обычаю пришел в Таврический Дворец повидать Родзянко.

Я застал его и бывших там депутатов крайне взволнованными. Мне сообщили, что только что от членов Совдепа пришло известие о начавшемся выступлении большевиков и против Временного Правительства, и против большинства Совдепа, которое обвиняется в соглашательстве с капиталиста-

ми и в измене делу пролетариата. Лозунгом движения было — „Вся власть Советам”. Таврический Дворец уже походил на потревоженный муравейник, всюду сновали перепуганные представители большинства Совдепа, вчера еще самоуверенные, а ныне почувствовавшие угрозу их положению и влиянию.

Спешно был созван пленум Совдепа, но его главари, видимо, ни на что не могли решиться, все свои надежды возлагали на Керенского. Правда, они знали, что ворон ворону глаз не выклюет, что их жизни ничто не угрожает, но расставаться с властью, с влиянием на массы и на правительство им не хотелось.

Вскоре от них прибыли гонцы к Родзянко, кои передали, что ему, да и всем нам, лучше — пока можно — разойтись по домам, т. к. к Дворцу направляются вооруженные банды, а Временное Правительство совершенно растерялось, сам кн. Львов якобы отсиживается в Аничковском Дворце и никаких вооруженных сил в его распоряжении не имеется. На вопрос, где военный министр — Керенский, — последовал уклончивый ответ.

Мы решили разойтись. На Таврической было много народу, часто попадались автомобили, переполненные вооруженными рабочими или матросами. Многие автомобили были снабжены пулеметами, все они неслись по направлению к Таврическому Дворцу, выполняли, видимо, какой-то заранее выработанный революционный план. Картина была внушительная, встречающая публика в страхе разбегалась.

На Невском картина была совсем необычная. Сам проспект был почти пуст, публика пряталась по боковым улицам, боялась показаться на проспекте, выглядывала из-за углов. Вдали по проспекту дви-

гались какие-то толпы, слышались выстрелы, шум и рев приближавшейся людской массы. На Стремянной я встретил непрерывную линию куда-то спешивших солдат и матросов, все они были вооружены ружьями, все выходили из одного и того же дома на Дмитровском переулке, где, видимо, была какая-то революционная штаб-квартира. На лицах этих людей нельзя было заметить какого-либо воодушевления, скорее это было перепуганное и озабоченное стадо, покорно исполнявшее чуждое задание, пассивно подчинявшееся чужой сильной воле.

Днем пришлось либо сидеть дома, либо слоняться по нашему кварталу, т. к. перейти Невский было небезопасно, там вооруженный сброд пользовался случаем пустить пулю в каждого, кто появлялся на проспекте. Правда, крови я не видел, страдали больше окна и стены.

Ничего толком нельзя было понять, доносились издали звуки ружейной перестрелки, шум и крики отдаленной толпы. Мой телефон не действовал, — вероятно, его выключили на центральной станции. Во второй половине дня на боковых улицах и переулках нашего квартала стали появляться сперва в одиночку, потом группами, наконец непрерывной лентой сумрачные, растерянные и как-то притихшие солдаты и матросы. Они куда-то спешили изо всех сил, ни на что и ни на кого не обращали внимания. Было ясно, что это беглецы, спешно оставлявшие поле революционного сражения.

Было похоже, что выступление сорвалось. К вечеру к моей прислуге пришел ее родственник, служивший солдатом на одной из кронштадтских батарей. Он был в полной панике, просил, чтобы ему позволили спрятаться на кухне, отсидеться до темноты. Этот храбрый революционер рассказывал, что он и его товарищи по батарее были вызваны по тре-

воге местной большевистской ячейкой, им было предложено немедленно идти на военном корабле в Петроград поддержать товарищей, выступивших в пользу полноты советской власти против министров-капиталистов. За это выступление им обещали хорошие деньги и дали в задаток по 10 рублей. Он думал, что дело идет о простой манифестации, не посмел уклониться. В столице, однако, он попал в вооруженную толпу, имевшую целью захват власти. Эта толпа, идя по Невскому, встретила на перекрестке другую вооруженную толпу, которую по ошибке они приняли за неприятеля, т. е. за верные правительству воинские силы. Начали в нее стрелять, на выстрелы последовали ответные выстрелы, кое-кто был ранен. Обе толпы в панике разбежались. Он этим воспользовался, пробрался задними улицами к нам на кухню, где и скрылся до ночи.

Поздно вечером, когда я был уже в постели, зазвонил мой телефон. Я понял, что центральная станция опять свободна, что произошел какой-то решительный поворот в положении. Я подошел. То говорил член Государственного Совета Карпов, который от имени Родзянко передавал мне, что опасность захвата власти большевиками миновала. Он рассказывал, что где-то казаки попали в засаду, были обстреляны красными, понесли потери и озлились. Они начали дело усмирения бунта всерьез. Командующий военными силами столицы ген. Половцев взял дело подавления выступления в свои руки, мобилизовал кое-какие надежные части, в том числе юнкеров. После нескольких орудийных выстрелов по бунтовщикам последние бежали в разные стороны. Было ясно, что движение сломлено, но дело теперь идет о ликвидации последних очагов движения.

Я спокойно лег спать.

На другой день в центре столицы было тихо. Конечно, улицы были полны взбудораженной толпы, но это были уже потревоженные накануне обыватели, о большевиках не было и помина. На улицах появились плакаты, которые сообщали о том, что Ленин и прочие господа, прибывшие в запломбированном вагоне, являются немецкими шпионами, действующими по германской указке и на немецкие деньги. Этому известию, которое, впрочем, имело видимость официального сообщения, охотно верили, не могли только понять, почему власть с этими изменниками и шпионами так церемонится.

Особенно возмущали слухи о том, что главари вчерашнего бунтарского выступления не только не выводятся в расход в порядке революционной юстиции, но попросту выпускаются на все четыре стороны почти немедленно после их ареста воинскими отрядами, приступившими к окончательной ликвидации последних очагов восстания на окраинах и к арестам вожаков движения. Особенно негодовала на эту слабость власти казарма, еще вчера растерявшаяся и в массе готовая объявить нейтралитет в ожидании того, чья возьмет. Теперь, когда провал начинания большевиков был несомненен, когда их приверженцы разбежались, а вожаки с Лениным во главе попрятались, храбрый революционный гарнизон готов был проявить максимум революционной жестокости, чтобы отомстить за вчерашний переполох и за жизнь нескольких солдат, подстреленных революционерами. Обыватель тоже был полон ненависти к большевикам, особенно когда узнал, что революционная чернь успела кое-где хорошо пограбить, изнасиловать несколько женщин, потреть и побить многих неосторожно попавшихся ей под руку буржуев, — словом,

проделать все, что полагается делать во славу революции.

Первая радость от подавления выступления скоро рассеялась. Стало известным, что кн. Львов остался верен себе. Правительство не только не хотело ликвидировать на месте главарей восстания, но вело к тому, чтобы обеспечить им полную безнаказанность. Правда, Ленин скрылся в Финляндии, но об этом все знали, было нетрудно его выловить, если бы правительство показало, что оно приступило к искоренению большевистского зла. Вместо этого рассказывали, что когда юнкера арестовали Троцкого и привезли его в Таврический Дворец, его встретили главари Совдепа словами: „Вы свободны, товарищ”.

Немудрено, что казаки, кои понесли наибольшие потери при подавлении восстания, пришли в ярость. Они открыто говорили, что больше никогда — за это правительство драться не будут. Это обещание они в октябре выполнили.

Отныне стало ясно, что хотя большевики в данном выступлении разбиты, но в общем они выиграли, отныне они морально сильнее и Временного Правительства, и большинства Совдепа, которые доказали свое полное моральное бессилие, отсутствие воли к борьбе и инстинкта власти.

А между тем все козыри были в этот момент в руках власти. При наличии общего возмущения большевиками, при распространившейся уверенности, что люди из запломбированного вагона простые предатели и шпионы, при готовности петроградского гарнизона покончить физически с виновниками недавнего междоусобного кровопролития кн. Львов и руководимое им правительство могли еще спасти родину, покончить с большевистской опасностью, задавить ленинизм в за-

родыше. Для этого надо было иметь только решимость действовать и желание укрепить свою власть. Надо было иметь волю к борьбе и чувство ответственности за будущее родной страны.

Конечно, обстоятельства требовали быстрых действий, решительных актов в порядке „революционной юстиции”, т. е. попросту надо было отдать приказ ликвидировать вожаков движения на месте, при самом аресте. Ошибок быть не могло, весь Петроград знал этих господ поименно.

Но кн. Львов по пути спасения родины не пошел. Он поступил как Пилат, умыл руки.

Он подал в отставку, выпустил бразды правления из своих рук, отказался от власти, которой так добивался в последние годы старого режима.

Последний случай спасти Россию от надвигавшейся анархии и большевизма этим непротивленцем был упущен.

Обычно говорят, что Керенский был предтечей большевиков, что он своею слабостью подготовил захват ими власти. Это верно, но только отчасти. Главная роль в этой политике непротивленства и неиспользования представляющихся возможностей спасти родину принадлежит тому, кто в минуту падения Трона взял всю полноту государственной власти в свои руки, сделался главою Временного Правительства и вся деятельность которого в это смутное время сводилась к постоянной сдаче своих позиций.

Преждевременное выступление большевиков в июле давало ему последний случай спасти свою власть и выполнить принятую на себя пред страню ответственность.

Но непротивленец оказался непротивленцем.

Россия была обречена.



## ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Лето смутного 1917 года. Дела на фронте шли отвратительно. Керенский, получивший в общезнании титул „Главноуправляющего“, окончательно провалился как глава правительства и особенно как военный министр. Начатое по его настоянию наступление в Галиции после мимолетного успеха у Галича превратилось в полный и позорный разгром, распропагандированная армия покатила назад, бросая целые горы с таким трудом созданного снаряжения и вооружения.

Пришлось хоть на момент опереться на авторитет какого-либо выдающегося генерала, вновь ввести смертную казнь, и т. д. Загорелась, как метеор на темном небе, яркая звезда Корнилова.

Но сразу же, с первого момента призвания к власти и к сотрудничеству этого генерала, революционная демократия вообще, а Керенский в частности, почувствовали к нему известную ревность, инстинктивное недоверие и подозрительность. Как только стал проходить страх, вызванный развалом фронта, как только там стал устанавливаться какой-то минимальный порядок, между Корниловым — носителем идеи дисциплины и самопожертвования ради блага государства — и революционной демократией проявилось то взаимное отталкивание, скрытая враждебность, которые были неизбежны при соприкосновении людей столь различных психологических типов.

Офицерство, остатки государственно-мыслящих элементов, все, кому дорого было будущее Великой России, склонялись явно на сторону Ставки. Революционная демократия, опирающаяся на распоясавшиеся массы народных низов, стремительно ле-

вела, несмотря на недавний урок, неудавшееся выступление большевиков. Балансировать между этими противоположными силами становилось все более затруднительно, почва начинала уходить из-под ног Временного Правительства вообще, а у Керенского в особенности. Явно чувствовалось приближение конца их престижа и влияния. Поэтому никто не удивился, когда стало известно о предстоящем съезде в Москве Всероссийского Государственного Сопещения. Это известие было воспринято, как очередная попытка Временного Правительства найти опору в разных слоях общества для возможного отпора нажиму с двух противоположных флангов.

На этом совещании и должны были присутствовать все члены всех четырех Государственных Дум, бесконечное число представителей разных демократических и революционных организаций и партий, вообще весьма странный и разношерстный подбор самых разнообразных по своим устремлениям группировок.

Сразу стало ясно, что ничего серьезного, делового выйти из этой затеи не может: это не был парламент, решающий дела по большинству, а состав совещания предопределял такое вавилонское столпотворение мнений и вожделений, что никто и никакого „совета” от такого сборища получить не мог.

Совещание должно было собраться в августе в Москве, которая была тогда переполнена. Найти там сносное помещение на несколько дней было трудно, надеяться на помощь властей невозможно, нужно было ловчиться. Мне повезло. У Родзянко были в Москве родственники или близкие друзья, которые пригласили его остановиться у них на время Совещания, причем предоставили ему привезти с собою одного или двух секретарей или членов Го-

сударственной Думы. Он предложил мне остановиться с ним у его знакомых, что меня очень устроило. Благодаря этому я был в курсе всех разговоров, которые он вел в Москве с лицами, прибывавшими из Ставки.

Как только начали съезжаться члены Сопещения, сразу выявилось их разделение на два враждебных лагеря, имевших разную психологию и различное отношение к задачам, стоявшим на очереди. Громадное большинство съехавшихся демократов состояло из лиц, для коих „углубление” революции было первейшей задачей. Они опирались на вышедшую из берегов государственности народную стихию, стремились быть на поверхности разбушевавшегося моря страстей, понимали, что они могут играть роль вождей постольку, поскольку они впереди движения, толпы, пока они кажутся элементом направляющим, а не задерживающим стремительное сползание влево, в ближайшее соседство с большевиками и пораженцами. С другой стороны было меньшинство, состоявшее из представителей русской интеллигенции, буржуазии, старого правящего класса, военных. Все эти остатки разбитой революцией русской элиты, осколки старого государственного аппарата, еще недавно враждовавшие друг с другом, а теперь объединенные смертельным страхом за судьбу русской государственности, стремились противопоставить разрушительному потоку демагогии свой высокий когда-то общественный и государственный опыт и еще не совсем забытый авторитет.

Особенно ярко это сказалось на предварительных собраниях членов Государственных Дум, где появлялись давно забытые социалистические лидеры — представители социалистических партий Первой и Второй Государственных Дум. Тут стало ясно, что

столкнулись две враждебные психологии, между которыми нет и не может быть соглашения, одна должна будет искоренить другую. Наиболее ярким представителем элемента, ставившего себе целью спасение великодержавности русского государства, были военные, прибывшие в довольно большом числе на Совецание с бывшим Верховным, генералом Алексеевым, во главе. Они первые подняли перчатку, брошенную революционной демократией защитникам государственной идеи. Правда, они чувствовали себя плохими политиками, отсюда их искание возможности опереться на профессиональных политических деятелей и интеллигентов.

В первые же дни нашего пребывания в Москве к Родзянко прибыл посланец из Ставки. То был молодой человек, сын нашего сотоварища по фракции в Думе, Лодыженский. Он занимал какой-то пост в окружении Корнилова, был, видно, доверенным лицом ген. Лукомского, нач. Штаба Верховного, прибыл по поручению штаба. После разговора с ним Родзянко был очень смущен, озабочен. Сперва он молчал, но я видел, что ему хочется поделиться своими впечатлениями от разговора. Действительно в конце концов он рассказал, что Лодыженского к нему прислало окружение Корнилова с извещением, что в Ставке подготавливается переворот, имевший целью свержение нынешней власти, опиравшейся на социалистов, установление взамен диктатуры, которая бы разогнала Совдеп и ввела суровую дисциплину в армии и в стране. Если Керенский пойдет со Ставкой — тем лучше, если нет, обойдутся без него. В предвидении изменения центральной власти Корнилов нащупывает те элементы, на которые можно было бы морально опереться и найти поддержку при реорганизации государственного аппарата.

После этого Лодыженский стал говорить свободно уже при мне. Он был увлечен этой идеей, успех казался ему несомненным. Было ясно, что в Ставке замышляют переворот, но к нему ничего не готово, все идет без определенного плана и руководства, по воле случая. Лодыженский имел миссию привлечь на сторону заговорщиков Родзянко и думцев. Я мог его заверить, что в лице думцев всех буржуазных партий новая власть, если таковая сорганизовалась, найдет деятельных помощников в деле организации государственного аппарата, но в процессе борьбы эти элементы никакой пользы принести не могут. Вопрос решится силой и только силой, поэтому организацию силы Ставка должна взять на себя. Общественные организации старого строя сейчас не имеют опоры в массах, не могут представить собою реальной силы для борьбы. Лодыженский был, видимо, обескуражен.

Вскоре Шингарев пригласил Родзянко и меня на „секретное совещание”, которое должно было происходить у Кишкина. Мы отправились. Там мы застали несколько членов Думы, главным образом кадет, несколько военных. В числе последних был Новосильцев, бывший член Государственной Думы, а теперь председатель союза офицеров фронта. Он нам представил других военных, фамилии коих я, однако, разобрать не мог. Ясно было одно, что все это офицеры, причисленные к Ставке и прибывшие по ее поручению.

Один из них начал развивать мысль, что для спасения армии от дальнейшего разложения, а следовательно для спасения родины, необходимо прибегнуть к радикальным мерам, что, однако, при наличии Совдепа и зависящего от него правительства невозможно. Уже и сейчас, когда Ставка прибегла лишь к полумерам, выявляется резкий отпор со

стороны центра, назревает конфликт между военной и гражданской властью. Возможно в любой момент смещение по требованию Совдепа Корнилова, который определенно решил не подчиниться этому. В таком случае создастся немедленный и острый конфликт, который можно разрешить только силой. Если победит центр, Совдеп и зависящее от него правительство, армия покатится в пропасть, тогда все погибло. Поэтому офицерская среда решила поддержать Корнилова в возможной борьбе, Ставка в ней имеет надежного союзника. Сейчас принимаются меры к организации сил на случай вооруженной борьбы, которая должна кончиться свержением правительства Керенского в нынешнем его составе. В случае удачного переворота, а в Ставке в этом не сомневаются, придется провозгласить режим диктатуры. Но всякому диктатору нужен государственный аппарат. Вот для этой цели нужна прежде всего помощь всего государственно мыслящего русского общества. Офицер обратился к нам, как представителям этого общества, с просьбой помочь Верховному устранить нынешнюю власть и содействовать в создании новой власти, нового аппарата управления. Другие несколько дополнили его мысль, причем Новосильцев подтвердил, что организованное в союз офицерство всемерно сочувствует планам Ставки и будет их поддерживать. Мы сидели и молчали, так все было неожиданно-наивно и по-детски необдуманно. Вся затея казалась представителям Ставки какой-то легкой военной прогулкой, которая не встретит и не может встретить сопротивления ни со стороны Керенского, ни со стороны революционной демократии. Когда они начали развивать подробности своего плана захвата власти, нам стало ясно, что все, решительно все, в этой аванюре не продумано

и не подготовлено, есть только болтовня и добрые намерения. Можно было подумать, что эта фантазия безответственного болтуна, если бы от Лодыженского я не знал, что тут дело пахнет не болтовней, а кровью. Неприспособленность военных к подготовке заговора, к организации переворота, была очевидна, можно было быть уверенным, что Керенский давно обо всем уже осведомлен, так все было наивно у заговорщиков. Естественно, мы проявили большой скептицизм. В основной идее мы были солидарны с делегатами Ставки, не скрывали, что всемерно сочувствуем планам Корнилова, но мы считали все дело настолько неорганизованным, что провал казался неизбежным. Мы начали углубляться в разные детали, стараясь выяснить подробности, причем все более и более убеждались, что дело в ненадежных с технической точки зрения руках. Особенно странной была роль политического комиссара правительства, имя коего не было названо, но который якобы сочувствовал делу.

Заседание кончилось ничем, было как-то смазано. Никаких обещаний помощи мы дать не могли, военные ушли разочарованными.

На следующий день меня и Родзянко опять пригласили на подобное же совещание. Происходило оно на квартире кн. Трубецкого. На этот раз выступил родственник хозяина дома, кн. Григорий Николаевич Трубецкой, состоявший при Ставке по дипломатической части. Его речь была о том же, что мы слышали у Кишкина. Очень умно и доказательно он развивал идею необходимости переворота, установления в России режима военной диктатуры, неизбежности столкновения Ставки с правительством Керенского. Но когда он перешел к вопросу о подготовке выступления, то мы могли опять убедиться в неподготовленности лиц, стоявших во главе заго-

вора, к конспиративной работе. Впрочем, князь это сознавал и просил гражданские элементы помочь в деле самого переворота, в его проведении в жизнь. Когда он кончил, попросил слово Милюков. Мы были все — одно внимание. Он сказал, что теоретически князь прав, что цели Ставки патриотичны и высоко национальны. Но мы штатские политики, люди реальной действительности, сознаем, что ничем Ставке помочь не можем, по крайней мере в период открытой борьбы. Мы могли бы помочь лишь в случае, если бы рассчитывали на опору широких слоев населения. Но этого нет, массы не с нами, а в этом деле будут, вероятно, против нас, если бы мы выступили. Точно так же можно сказать, что массы пойдут против планов Ставки. Без опоры на массы мы не сила, на нас поэтому рассчитывать нельзя, никакой помощи оказать мы не можем. Все присутствующие члены Думы согласились с Милюковым, вопрос был исчерпан.

Дня через два состоялось, наконец, пресловутое Государственное Совещание. Это был какой-то странный и никому не нужный фарс. По очереди выходили на трибуну, — вернее, на сцену (дело происходило в Большом театре), представители разных партий и организаций и произносили краткие речи, полемизируя с предыдущими ораторами или критикуя правительство. Каждому отводился минимум времени, ничего серьезного никто сказать не мог. Даже речь Родзянко была прервана за краткостью предоставленного ему времени. Конечно, лучшие думские ораторы имели внешний успех, но дело от этого не менялось: никто никого не слушал, все пришли с предвзятой идеей. Из представителей демократии только бывший втородумец — Церетели — имел успех у правого лагеря, в его словах послышался проблеск патриотизма, понимания долга



пред родиной. Последовал символический жест — рукопожатие с думцем Бубликовым. Но это была единственная ласточка, которая весны не принесла. Самым драматическим моментом было появление Корнилова. Было известно, что правительство не желало его приезда, но он приехал. Это было первым наглядным проявлением розни, которая должна была чрез короткое время вылиться в кровавую драму. Появление Верховного, его краткая речь, его предостережения, все это было предметом оаций правого крыла, тогда как левое проявляло неприкрытую враждебность, доходившую до ненависти.

Когда выступил Керенский — мы ждали разгадки созыва Сопещания, каких-либо программных деклараций. Ничего подобного не было, он смело мог не произносить этого бессодержательного набора слов. Он, видимо, уже знал о существовании заговора в Ставке, как знал и о комплоте со стороны большевиков. Он грозил на обе стороны, говорил, что правительство в курсе всех начинаний, в каждый данный момент сильнее противника, сумеет выжечь каленым железом крамолу. Он в упор смотрел на Родзянко, грозил ему пальцем. Было ясно, что ему известны „секретные заседания” и приезды делегатов Ставки. Еще раз выяснилось убожество заговорщиков в конспиративной работе, их неосторожная болтливость и доверчивость. По тому, как враждебно встретила демократия Верховного, можно было догадаться, что и ей многое из замышляемого в Ставке известно. Ничего хорошего это не предвещало, было ясно, насколько прав был Миллюков, отклонивший участие думцев в подготовке переворота, уже обреченного его же организаторами.

После этого выступления Сопещание кончилось как-то незаметно, осталось одно недоумение, кому

и для чего оно было нужно. Я уезжал из Москвы с тяжелым сердцем. О Совещании я забыл, как только вышел из театра. Но осталось тяжелое предчувствие надвигавшейся катастрофы, неизбежности столкновения военной власти с революционной демократией, которое при детской неподготовленности к заговорам первой и при поддержке массами второй не оставляло сомнений в исходе. Опять нависли над Россией тяжелые тучи, выхода не было.

## Из воспоминаний о 1917 годе

Публикуя последнюю часть воспоминаний Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс, напомним, что эта выдающаяся русская общественная деятельница родилась в Петербурге 13-го ноября 1869 г. и скончалась в Вашингтоне 12-го января 1962 г. Талантливая журналистка, она написала в России несколько романов, а за границей — ряд исследований, в том числе двухтомное — „Жизнь Пушкина”, „От свободы до Брест-Литовска” (историю первого года революции) и ряд других.

Будучи членом ЦК кадетской партии с самого ее основания, А. В. Тыркова-Вильямс была избрана летом 1917 г. в Петроградскую городскую думу. В учредительное собрание, она, видимо, не прошла, хотя в ее случае большевистская власть уничтожила всю документацию. Уехав со своим мужем англичанином Гарольдом Вильямсом из России в Англию, она не оставляла общественную деятельность и отдавала много времени и сил делу помощи беженцев, как во времена Лиги наций, так и после второй мировой войны, во время насильственной репатриации.

О ее жизни и деятельности подробно написал ее сын от первого брака — Аркадий Борман (Аркадий Борман. А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. Лувен-Вашингтон, 1964), а сама она опубликовала два тома своих воспоминаний — „То, чего больше не будет” (изд. „Возрождение”, Париж, 1951) и „На путях к свободе”, вышедший в Чеховском издании в 1952 г. Кроме того, в парижском журнале „Возрождение” отдельными главами в 1956—58 гг. печатался ее третий том: „Подъем и крушение”.

Последняя, пятнадцатая глава этого тома, заканчивающаяся убийством Распутина, была опубликована в 82-й тетради „Возрождения”, в октябре 1958 г. Печатаемый нами отрывок, очевидно, является последним незаконченным разделом этого, третьего, тома воспоминаний Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс. — Р е д.

Переворот вздернул кадетскую партию, как и всю Россию, на дыбы. В нее хлынули новые члены, и рядовые, и более приметные. На второй день революции ко мне позвонил А. В. Карташев и попросил объяснить ему, что надо сделать, чтобы поступить в партию. У нас не было близкого знакомства, и я не очень знала, почему он обратился именно ко мне. Вероятно, на мне, как на женщине, не было сенаторской мантии, которая невидимо развивалась кругом членов Ареопага. Во всяком случае я была горда таким крестником, и мы, конечно, сразу ввели этого одухотворенного, блестящего мыслителя в наш ЦК.

Вернулся к нам и другой мыслитель, сбежавший из партии во время Первой Думы, кн. Евгений Трубецкой. У этих двух было родственное вдохновение. Их религиозный пафос, озарявший все, что они говорили и делали, вносил новые ноты в нашу идеологию. Так велико было потрясение, так невозможно было переживать все происходящее только с узко материальной, политической меркой, что появление в нашей среде двух православных христиан было своего рода началом если не возрождения, то хотя бы пробуждения духа.

Трубецкой как-то опоздал на заседание ЦК. Когда вошел, быстро оглядел нас светлыми, яркими глазами и сказал:

— Извините, пулеметы задержали.

— Какие пулеметы?

— Не знаю. Я вышел из гостиницы „Франция” — он жил там на Морской, около арки, — слышу, стреляют направо, на Дворцовой Площади, стреляют также где-то налево. Я посмотрел вверх на небо и понял. Ведь это там ангелы с демонами воюют, а у нас только отражение их войны.

Трубецкой был стройный, высокий. Он стоял над нами точно вестник, посланный нам что-то объяснить. И красивое лицо светилось.

Все сидевшие кругом стола повернулись к нему. Я быстро обежала глазами знакомые лица. Милюков, может быть, еще два-три человека вежливо усмехнулись. Остальные слушали его с печальным вниманием, точно хотели найти в его словах ответ на все недоумения, клубившиеся в душе.

Вошла к нам также в партию гр. С. В. Панина. Через свою мать, вернее, через И. И. Петрункевича (один из лидеров партии) она поневоле была в курсе кадетской партийной жизни, знала главарей. Но держалась в стороне. Даже с легкой иронией подчеркивала:

— Я не политик, мое дело просвещение.

Этому делу народного просвещения она отдавалась с увлечением, вносила в него своеобразное творчество. Но от политики отмежевывалась. Душается, даже не любила ее. А тут сама пришла. Почувствовала общую потребность стать в какие-то ряды, действовать сообща, в чем-то участвовать.

А между тем по натуре она была индивидуалисткой, любила все делать сама, всем руководить. Но среди разбушевавшихся волн каждый искал, куда привязать свой челн. И Панина привязала свой к кадетской партии. Ее даже сразу выбрали в ЦК, где я в течение одиннадцати лет была единственной женщиной. Теперь нас было двое. К счастью, мы с ней не последовали старой поговорке — два веретена врозь, семь топоров вместе. Позже, уже за границей, мы с ней ближе сошлись. Но тогда не до этого было. Я была рада видеться с ней и во время белой войны, и в эмиграции.

Немногие месяцы существования Временного Правительства были для кадетской партии перио-

дом ее наиболее напряженной деятельности. Я не скажу — расцвета. К сожалению, слишком быстро стало выясняться, что кадеты не в силах справиться с выпавшей им исторической ролью. Но партия сразу возросла, и в нее хлынули тысячи новых членов, надеясь через нее принять участие в перестройке жизни в России. Искали руководства, искали пристанища и шли к кадетам, потому что они лично внушали к себе доверие, потому что их умеренность казалась более надежной, чем демократические крайности тех, кто был левее кадетов.

Однако по-прежнему к нам шли более образованные, более ответственные люди. Толпа охотнее слушала социалистов всех толков. Слушала, но она еще никого не слушалась, находилась в состоянии инертного любопытства. Не старалась захватить власть, не стремилась действовать. Оставалась пассивной. Вообще не толпа сделала революцию, вожаки разных толков раскачали ее на революцию, выгнали солдат на улицу, заставили их свалить старую власть.

За то, что в феврале 1917 года в России произошла революция, несет ответственность не русский народ, не низы, не так называемые массы, а верхи, интеллигенция, грамотные люди всех градаций, профессора, адвокаты, писатели, артисты, даже генералы.

Все они жаждали перемены, твердили, что дальше так жить нельзя. Но они не поняли необходимости, не сумели сразу образовать сильное правительство, способное вести войну и управлять страной, отдавать приказы, заставлять себя слушаться. Они обязаны были не допустить перерыва власти. С этой обязанностью русская интеллигенция не справилась.

Первыми на политический экзамен попали либеральные течения русской мысли, которая полнее всего выражалась кадетами. Потом выступили срав-

нительно умеренные социалисты под руководством Керенского. И та и другая попытка кончилась ничем. Они только подготовили дорогу большевикам, которые сумели разрушить старую Россию и на ее развалинах создать на совершенно новых основаниях жестокую, но сильную власть.

Добросовестные, начитанные, от всего сердца преданные России кадеты, среди которых были люди очень неглупые, не справились со своей новой задачей, не сумели превратиться из оппозиции в правительство. Почему?

Я, как солдат разбитой армии, не раз с горечью задавала себе этот вопрос и хочу передать свои размышления, в которых, конечно, нет исчерпывающего ответа.

Мы попали в большую историческую катастрофу. Россия была подточена трехлетней войной с могучим противником и, не успев ее закончить, среди войны вошла в полосу революционных потрясений. Современникам, может быть, труднее, чем позднейшим историкам, делать выводы и логические обобщения того, что происходит в такие эпохи. Это как очертание гор, они становятся виднее на расстоянии. Но будущим исследователям нужен материал, включая оценку очевидцев. Мой труд не пропадет даром, если послужит таким материалом. Я не без усилия собираю его из закоулков памяти, запыленной годами. Многие важные забыто, неважные запомнилось. В одном только я уверена, что нет в моем рассказе вымысла. Я ничего не сочиняю, никому не приписываю слов, им не сказанных, действий, им не совершенных.

Вот как сложилась в моей голове критика быстро промелькнувшего пребывания моих товарищей-кадет у власти. Эту критику надо разделить на две неравные части: каковы были условия, в кото-

рых они стали министрами, и каковы были их личные свойства.

Условия были исключительно неблагоприятные и совершенно неподходящие для кадетской психологии.

Война нарушала нормальный ход жизни, подточила народное хозяйство, расшатала нервы.

Министерство народного доверия принимало власть в разгар борьбы с сильным внешним врагом. Россия переживала напряжение, сходное с напряжением 1812 года. Но за сто лет народ успел забыть опыт отечественной войны. Когда прогрессивный блок, широко поддержанный общественным мнением, добивался ответственного министерства, предполагалось, что оно будет назначено царем, что преемственность власти не будет нарушена. На самом деле царь отрекся. Власть выпала из его рук. Самодержавие свалилось, оставив после себя пустоту, новые министры были призваны спешно заполнить ее. Правда, аппарат власти остался, остались на местах чиновники и военные, поскольку их не разогнали солдаты. Но когда упала корона, многие с изумлением заметили, что ею заканчивался, на ней держался центральный свод русской государственности. Позже мне не раз приходилось слышать от англичан, что в Британской Империи это ключевая часть всего здания. И я это хорошо понимала. Заполнить опустошение оказалось не по силам кадетам. Милюков уговаривал вел. кн. Михаила Александровича принять престол. Он это понимал и старался предотвратить /крушение/.

Следующая трудность вытекала уже не из резко оборвавшейся связи с прошлым, а из настоящего дня, из тех источников, откуда вышла власть.

Временное Правительство родилось по соглашению с президиумом и комитетом Государственной



Думы. Но еще раньше, чем создано правительство, там же, в Таврическом Дворце, образовался Совет Солдатских и Рабочих Депутатов, куда вошли все депутаты-социалисты. Его возглавлял член Думы Чхеидзе. Совет не имел ничего общего с президиумом Думы. В него сразу включились люди, ничего общего с Думой не имевшие. Все же это был отпрыск Государственной Думы, хотя и незаконный. Дума была первоначальным источником его авторитета. То, что Совет помещался в Таврическом Дворце, заседал в зале, где раньше происходили заседания Государственной Думы, где выступал Столыпин и другие министры, придавало Совету вес, накладывало на него печать почти государственного учреждения. Это действовало на воображение, усиливало самоуверенность членов Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, число которых все увеличивалось. Государственная Дума перестала собираться. Это было большой ошибкой. Исчезновение Думы увеличило опасную пустоту вокруг новой власти. Временное Правительство водворилось в Мариинском Дворце. Совет Солдатских и Рабочих Депутатов быстро оттеснил Комитет Государственной Думы куда-то на задворки и стал хозяином Таврического Дворца. Он очутился в центре внимания всей России. Мариинский Дворец (где заседало правительство) — это что-то чиновничье, связанное с прежним режимом, от которого мы, слава Богу, освободились. А Таврический Дворец — это народное завоевание. Там собираются народные представители. Прежде это были члены Государственной Думы, теперь это члены Совета С. и Р. Депутатов. Так незаметно и быстро Временное Правительство очутилось на втором плане.

Не знаю, была ли это заранее обдуманная тактика. В первом составе Петроградского Совета еще

не было таких шустрых, ловких режиссеров, какими показали себя большевики. Но социалисты вообще несравненно больше старались влиять на воображение масс, чем кадеты. И умели это делать. Мы хотели опираться главным образом на рассудок, индивидуальный и коллективный. Мы считали себя обязанными доказывать, пояснять, предостерегать. А слева сыпались слова, возбуждающие чувства и аппетиты, давались обещания, неистощимые, как океан. И чем левее был оратор, тем щедрее обеими пригоршнями сыпал он обещание за обещанием. Не удивительно, что массы с несравненно большим удовольствием слушали советских ораторов, чем нас. Удивительно, что они нас все-таки слушали, а нередко и аплодировали.

Между тем у нас на все были оговорки. Мы тоже хотели мира, но не сразу. Сначала надо в единении с союзниками завоевать победу, а потом уже заключить мир.

Мы тоже обещали наградить крестьян землей, но мы хотели, чтобы государство не отобрало, а выкупило ее от помещиков, мы не объявляли, что земля Божья. Если бы кадетская программа была осуществлена, крестьяне сидели бы на своих участках крепко и просторно. Но митинговые состязания с социалистическими посулами кадетской программе было не выдержать.

Так же, как призыв воевать до победы не мог перебить формулы — мир без аннексий и контрибуций. Самая непонятность этих двух слов придавала им магическую пленительность. А тут еще предложение брататься с врагом, отказаться от дисциплины, выбирать или выгонять офицеров, не говоря уже о ленинском изречении — мир хижинам, война дворцам.

Ничего такого соблазнительного Временное Правительство и кадетская партия не обещали. Они призывали к борьбе, к дисциплине, к жертвам.

А там, налево от нас, перекатывался старый клич — все дозволено...

Не случись в петроградском гарнизоне бунта, армия могла бы продолжать воевать. Но, конечно, война всех утомила. Жажда мира была всеобщей. Когда до солдат стали доноситься речи о том, что надо воевать поскольку-постольку, что, в сущности, неизвестно, за что мы воюем, что неприятельские солдаты тоже устали и готовы сложить оружие, то сразу все эти миллионы солдат зашатались. Некому было их удержать, так как авторитет и сила командного состава были подорваны, в сущности уничтожены, приказом номер первый.

И Временное Правительство, созданное для победоносной войны, оказалось без опоры в армии, повисло в воздухе. Тщетно кадетская партия, составляющая в нем руководящее большинство, распиналась, доказывая необходимость войны. Солдаты, распоясанные, с расстегнутыми воротниками, луцили семечки и пренебрежительно усмехались: нас не проведешь, довольно мы кровь проливали. Пренебрежительнее всего усмехались те, кто дальше запасных казарм еще не был и нигде еще крови не проливал.

Это противоречие во взглядах Правительства и Совета на войну сказалось с первых же дней. Но среди социалистов не все были пораженцами, некоторые стали оборонцами. Они с начала войны не хотели победы, считали, что это будет царская победа. Теперь у власти народ и народной победы они захотели. Но переделать себя и свою фразеологию оказалось не так легко.

Из толпы этих новых оборонцев выше всего поднялся А. Ф. Керенский. У него было умение ловить момент, придавать ему живописность. По своему политическому складу он был ближе к Совету, чем к Правительству. Но он поставил себе задачей быть между ними связью. Когда намечался состав министров, он взял себе Министерство юстиции. Сделал это по сговору с кадетами и уже потом пошел в президиум Совета и там заявил:

— Вы можете судить меня как хотите, вы можете отвернуться от меня, но я должен вам сказать, что я только что согласился стать министром юстиции в кабинете кн. Львова. А теперь поступайте, как хотите...

Можно себе представить, с какими эффектными интонациями и жестами это было сказано. В Керенском было много актерского.

Даже тогда, когда он срывался с голоса. Я это видела в один из первых дней революции. У нас в одной из комнат Таврического Дворца происходило небольшое совещание о продовольствии. Вдруг дверь с шумом растворилась и к нам влетел Керенский. Лицо его было еще бледнее обыкновенного. Ни с кем не здороваясь, он бросился в кресло, откинул голову, закрыл глаза и, ни к кому не обращаясь, истерическим голосом прошептал:

— Я не могу, не могу этого вынести.

Мы решили, что с ним случилось что-то страшное. Не знали, как спросить. А он, не открывая глаз, все тем же срывающимся полупшепотом продолжал:

— Вы понимаете, они меня освистали... Мне не дали говорить... Сорвали... Я не хочу... Я не могу...

Он полулежал в кресле, жалкий, несчастный. Еще немного — и он упадет в обморок или с ним начнет истерика.

Несколько минут спустя из его отрывистых слов мы поняли, что солдаты освистали его за то, что он заговорил о войне до победного конца.

Мне эта сцена вспомнилась, когда пять месяцев спустя, Керенский, уже глава Временного Правительства, еще более вздрагивающим, истерическим голосом обращался на Государственном Собрании в Москве к представителям всей России, а солдаты открыто издевались над ним.

Не знаю, как Керенский отчитывался перед Советом в своих речах, в своем участии в буржуазном правительстве, но другие члены Совета, а в особенности маленький коварный Чхеидзе, неустанно опирались, возбуждали недоверие к Временному Правительству в целом, к его кадетской части в особенности.

Это недоверие сказывалось с первых же дней, выражалось устно, печатно, отдельными лицами и целыми делегациями. Оно наложило печать на первое же программное обращение к народу Временного Правительства. Под давлением Совета Солдатских и Рабочих Депутатов в этом манифесте Правительство давало обещание не выводить из Петрограда запасных батальонов, этих „доблестных героев революции”.

Это была больше чем уступка, это была слабость, проявленная еще до перехода к ним власти. Запасных, конечно, необходимо было увести, вернуть их к дисциплине, заставить драться. Но Совет правильно решил, имея в виду свои интересы, что эти опьяненные успехом и демагогической лестью солдаты будут для него опорой, для правительства угрозой, и удержал их около себя.

Распушенные, ленивые, обнаглелые, одуревшие от безделья солдаты с утра до ночи шатались по улицам, засыпая мостовую шелухой от семечек. Это

был своего рода хор греческой трагедии, под которой разыгрывалась судьба Совета. Да и не только Совета.

История с гарнизоном сразу показала слабые стороны правительства. Точнее сказать, кадетской партии. Я уже сказала, что за первый состав правительства, до ухода Милюкова, отвечает именно партия. Присутствие Керенского (в правительстве) этой ответственности с нас не снимает. Также и то, что возглавлявший кабинет кн. Г. Е. Львов не был кадетом.

Кн. Львов был толстовцем, если не пацифистом, то своего рода непротивленцем. Не мог такой человек вести взбаламученную Россию к победе. Но посадили его кадеты, может быть потому, что взгляды у него были кадетообразные и можно было думать, что он побредет туда, куда ему скажут. На самом деле кн. Львов, не проявляя своей инициативы, чужой инициативе мешал. Мне не раз говорили мои друзья министры, что Львов всегда хитрит и что внутри правительства он старается тормозить все кадетские начинания. Это, конечно, тоже не облегчало работы нового правительства. Но если бы оно состояло из людей решительных, с твердой рукой, то с Львовым было бы нетрудно справиться.

Этой твердой руки не было, к несчастью кадет и России. Была цельность политического мирозерцания, честная и искренняя преданность идеям. Но не было того толчка, который заставляет волевых людей хватать власть и подчинять себе других. Кадеты были слишком щепетильны, слишком рассудочны. Они так тонко развивали, разбирали, украшали либеральные идеи, что их отпугивала необходимость заставлять, понуждать, приказывать. На себя они брали только убеждение, уговоры. А там пусть люди сами превращают эти слова в дела. Нельзя их

насиловать. Добрую волю отдельных людей и масс надо уважать. В этом основной принцип либерализма.

На самом деле нельзя смешивать уважения к человеческой личности с уважением к человеческим поступкам и воле. Всякого человека надо уважать прежде всего потому, что он создан по образу Божьему, потому что в нем искра Божья. Но его поступки — это уже человеческое начало, которое можно и должно направлять в должную сторону.

На это Временное Правительство оказалось неспособным. Кадеты не выдвинули волевых, сильных людей и из-за этого оказались совершенно беспомощными правителями.

В одном из продовольственных заседаний в Москве известный кооператор Биркенгейм, которого я только что слышала на большом крестьянском митинге, где он безудержно льстил мужикам, уверяя, что они герои патриотизма и что он знает, что они готовы пожертвовать весь свой хлеб отчизне, этот самый Биркенгейм на нашем закрытом заседании, без прессы, налетел на министра продовольствия Шингарева:

— Вы скажите нам прямо, Андрей Иванович, можете вы дать войска, чтобы собирать у мужиков хлеб, или не можете? Если нет, то ничего с хлебом не выйдет. Мужик по доброй воле вам /хлеба/ не даст.

Шингарев виновато улыбнулся. Он твердо знал, что Временное Правительство военных экспедиций за хлебом не пошлет, в его распоряжении не было воинских частей, которые исполнили бы такой приказ, но даже если бы они были, одна мысль о том, чтобы силой отнимать у мужиков хлеб, была настолько чужда, противна кадетам, что такого приказа от них ждать было нечего.

Это отвращение распространялось на все отрасли жизни, тыловой и военной.

Временное Правительство отменило в войсках смертную казнь, уступая настояниям Петроградского Совета, но большинство кадетских теоретиков права этой отмене сочувствовали. Что не мешало им в невинности сердечной призывать к войне до победного конца.

Милюков десять лет считался лидером кадетской партии. Теперь он стал министром в правительстве, где большинство состояло из кадет. Только министром, не главой правительства. Но будь у Милюкова умение и потребность действовать, он мог бы повести за собой всех остальных. В нем был большой запас честолюбия, желания первенствовать.

Казалось, что он хочет власти, ищет ее, идет к ней. Но когда революция поставила его лицом к лицу с возможностью эту власть схватить и через нее осуществить хотя бы часть тех политических задач, которые он развивал в своих статьях и речах, — то в нем не хватило динамики. Потребность рассуждать — выражаясь грубо, разводить бобы, перевесила потребность действовать. То, что мы принимали за властолюбие, было только суетным желанием быть на виду.

Он, конечно, считал себя государственным деятелем, но не мог им стать потому, что был лишен того органического ощущения государства, как живого существа, как любимого существа, которое есть в каждом английском политике, даже среднего калибра. Оттого с таким самонадеянным легкомыслием занес он молот над головой исторической власти, когда с трибуны Государственной Думы он бросил свое — глупость или измена\*.

---

\* Имеется в виду речь П. Н. Милюкова с думской трибуны 1 ноября 1916 г. — Ред.



Оттого позже отшатнулся он от одного намека, что Временное Правительство должно запретить ленинскую пропаганду.

Милюков наивно верил, что он, как либерал, обязан отречься от всех царских методов управления. Наивно верил, что нет надобности приказывать и тем более запрещать. Свободный народ свободно выберет свои поступки. Надо только дать разумный совет.

Советы он давал не худые. Он хотел сохранить монархию, хотел не изменять союзникам, довести войну до победы. Съездил даже в Двинск и в Витебск, чтобы убеждать солдат воевать.

Раньше, когда на фронте стояла сильная, дисциплинированная императорская армия, Милюков ни разу на фронте не побывал. Помню, как я его убеждала съездить, говорила ему, что нельзя понять Россию, не побывав около окопов. А он, расправляя усы, ответил:

— Я не уверен, что командующему составу будет приятно мое появление.

У него не было потребности взглянуть поближе на солдат. Как радикал, он всегда был далек от армии и даже во время войны не преодолел этой отчужденности. И самолюбие оказалось сильнее патриотизма. Вдруг не оценят, что приехал он, Милюков.

А летом 1917 года, когда он ушел из правительства, то поехал на фронт, говорить с солдатами. Им было любопытно, что Милюков, имя которого повторялось на все лады в газетах, на митингах, приехал нарочно из Петрограда, чтобы им объяснить, зачем нужно воевать. Воевать они совсем не собирались. На них еще были солдатские рубахи, но солдатами они перестали быть. Это они твердо знали. Может быть, потому и не мешали старику говорить, не

бросались на него, потому что знали, что заставить их воевать он не может. Но со стороны Милюкова это было большое мужество — выступать перед тысячами солдат, уже развращенных революционной пропагандой. Такая смелость словесная в нем была. Но смелость, решительность в поступках, в действиях была ему совершенно чужда. Он даже во внешних подробностях жизни не мог приспособиться к своему новому положению. Ни он, ни его жена. Я заставала Анну Сергеевну в великолепной квартире министра иностранных дел за одиноким завтраком, где-то в уголку. На красивой тарелке лежала колбаса, завернутая в бумагу, какие-то кусочки сыра. То, что я видела и в их квартире на Бассейной.

А проводил меня в этот уголок жены министра статный лакей в ливрее, в шелковых чулках. У него была осанка вельможи.

Особенно выпукло проступала эта неуклюжесть обоих Милюковых, когда им вздумалось позвать несколько человек на пасхальное розговенье. Оба они в церковь никогда не ходили и мне было немного смешно, когда в Страстную Субботу Анна Сергеевна по телефону пригласила меня и Вильямса (муж А. В. Т. — Ред.) вечером разговляться.

— Только знаете, — прибавила она, извиняясь, — сейчас так трудно достать провизию, что нам приходится просить гостей принести кто что может.

Я, конечно, обещала. Вильямс, узнав об этом, залился своим громким детским смехом.

— В первый раз позвали к министру и то нужно идти со своим куличом. Вот так штука.

Это, конечно, было смешно. При некоторой распорядительности отлично можно было устроить розговенье. В Петрограде еще все было, и у нас обычный пасхальный стол был готов.

Это не было ночное розговенье.

В большой красной с золотом столовой нас собралось не больше пятнадцати человек. Накрыт стол был чудесно: фарфор, стекло, серебро — все по-министерски. И несколько живописных статуеобразных лакеев в ярких ливреях стояли вдоль стен, как живые напоминания о пышности минувшего режима. На их невозмутимых лицах не промелькнуло ни тени удивления или насмешки, когда мы стали, шурша жирными бумажками, разворачивать наши пакетики и беспорядочно раскладывать их по тарелкам. Анна Сергеевна суетилась, бегала вокруг стола, подсовывала тарелки. Было похоже на студенческую пирушку, а не на министерское розговенье. Милюков, снисходительно улыбаясь, смотрел на всю эту возню. А великолепным, хорошо дрессированным лакеям, вероятно, было очень трудно, когда мы наконец расселись, ввести какой-то порядок в обслуживание гостей.

Собрались все кадеты, все люди давно друг друга знавшие. Помню, был милый Шингарев, который всегда вносил уют. Был Некрасов, рослый, жадный, но еще почтительно преданный Милюкову. Разговор лился щедрее, чем вино. Его, по-моему, и не было. Нет, все-таки было. Когда еда кончилась, лакеи ушли, были тосты. Это было месяца полтора после революции, и все еще были полны надежд. Но уже Ленин и Троцкий громили правительство вовсю, особенно Милюкова, за то, что не хочет мира без аннексий и контрибуций. И мне вдруг вздумалось спросить:

— А что вы думаете, если товарищи свалят Павла Николаевича? Кто займет его место?

Стали называть разных левых. Потом обратились ко мне:

— А по-вашему, кто?

— По-моему, если так пойдет, Троцкий.

В ответ раздался дружный хохот. Это казалось совершенно невозможным, нелепым, просто глупым.

То, что кадетская партия даже среди революции не смогла выдвинуть людей действия, есть одна из причин неудачи Временного Правительства.

Многолетняя оппозиция разъяела либералов. А в то же время, верные либеральным принципам, они были чересчур разборчивы в средствах. Поэтому они так добросовестно относились к своему названию — Временное Правительство. Они считали себя только доверенными, которым народ — временно, до Учредительного Собрания — поручил дела государственные. Все главные мероприятия, все существенные изменения в законах откладывались до созыва Учредилки. Об этом и на митингах говорилось постоянно. Министры подчеркивали, что они занимают свои места только пока не придут настоящие хозяева, даже вроде как бы извинялись, что сидят на господских местах.

Ленин, тот никаких „пока“ не признавал, и уж, конечно, ни перед кем не извинялся. Он схватил власть, и сразу стало ясно, что он без боя ее никому не уступит. Вот этой боевой ясности не было ни в кадетских речах, ни в их поступках, ни в их сердцах.

Я пишу не хронологическую историю. Это я попыталась сделать в моей книге „От свободы к Брест-Литовску“ (книга была издана только по-английски, в Лондоне в 1919 году). Пишу по мере того как встают в памяти подробности этих тяжелых, смутных месяцев русской смуты, когда еще так страстно хотелось что-то спасти, от чего-то оградить Россию. Хотелось, но все меньше верилось, что можно спасти.

По всему Петрограду открывались политические клубы. Открылся и кадетский клуб в огромной, нарядной квартире на Французской набережной, с высокими зеркальными окнами, через которые был чудесный вид на Неву. И на Петропавловскую крепость, где несколько месяцев спустя очутилась часть кадетского министерства. В клубе с утра до ночи толпился народ, особенно к вечеру, когда заседал ЦК и министры-кадеты приезжали из заседаний Временного Правительства. Я написала „народ”. Скорее следовало бы употребить вышедшее теперь из употребления выражение — чистая публика. Народ, в смысле толпы, массы, а уж тем более низов, по-прежнему был далек от кадетов. Только название это долетало до него все чаще. Левые агитаторы, владевшие вниманием толпы, большую часть своего красноречия тратили на разоблачение кадетов, империалистов и буржуев. Количественный успех был, несомненно, за этими ораторами. Около них все сгущалась толпа — в Таврическом Дворце, около особняка Кшесинской, где Ленин устроил свою штаб-квартиру, на фабриках, в мастерских, на улицах.

А к нам шли чиновники, профессора, доктора, люди разных интеллигентных профессий, которые ни рассудком, ни сердцем не могли принять несшиеся слева проповеди разрушения и внутренней войны.

К нам шли те, кто хотел сохранения союзных договоров, продолжения войны.

К нам шли те, кому было противно насилие, кто хотел мирным, законным путем установить в России либеральный строй. Многие вперед соглашались и на коренные социальные перевороты, если такова будет воля народа, свободно выраженная в Учредительном Собрании.

Кадетский клуб очень скоро превратился в центр для приготовления к Учредительному Собранию. Заседали бесконечные комиссии по выработке избирательного закона, по подготовке законопроектов. Из Москвы приезжал один из самых знающих юристов, председатель комиссии по Учредительному Собранию Ф. Ф. Кокошкин и делал нам длинные, обстоятельные доклады. Он не мог произнести чуть ли не десяти букв русской азбуки. Но все эти недостатки произношения покрывались блеском изложения, энциклопедичностью юридических знаний, ясностью академической мысли. Он был очень хороший человек, энтузиаст юридической догматики с огромным авторитетом среди таких же, как и он, профессоров.

А меня с каждым днем события делали все скептичнее. На фронте шло братание с немцами. Армия расплзалась, как гнилая ткань. Власть Временного Правительства слабела. Голос большевиков звучал все громче. И я уже летом чувствовала, что они нас всех скоро заглушат, что никакой Учредилки не будет. Поэтому, когда Ф. Ф. Кокошкин элегантно, четко докладывал проект избирательного закона, где были введены самые новейшие измышления самой демократической избирательной техники, я слушала почти с раздражением. Не выдержала и сказала:

— Все это в книгах очень хорошо, а в жизни надо как-то иначе. Зачем такие шутки нам, в России. Пропорциональное право? Все эти последние фасоны хороши для маленьких стран, а не для нас. Вы говорите, точно все избиратели умные... Нужно так сочинить избирательный закон, чтобы они волея-неволей голосовали за разумных людей, а не за бешенных пораженцев.

Они так на меня напали, так негодовали, так меня высмеяли, за то что я, по невежеству своему,

колеблю треножник демократизма. Но я уперлась:

— Да, я не юрист, но и те, что будут голосовать, не юристы. Беритесь за них с другого конца. Надо понять их психологию, захватить их воображение, а не заботиться о чистоте правовых норм.

Насколько помню, ни от кого из кадетских главварей я не получила поддержки. В них не было ощущения реальных сил, реальной борьбы. Только предельная, несокрушимая преданность либеральным идеям, формулам, которые превращались в какие-то окаменелые заклинания.

Раз вечером ЦК рассматривал окончательный проект земельной реформы, который кадетская партия внесет в Учредилку. Докладчиком был Н. Н. Черненков. Он был из земских статистиков. Голова у него была набита цифрами. Он всегда мог их достать из своей умственной кладовой, чтобы подтвердить правильность нашей аграрной программы. Большинство знало ее наизусть, казалось, спорить не о чем. Но в пункте о принудительном отчуждении частновладельческих земель Черненков употребил выражение:

— Отчуждение земли для раздачи ее крестьянам в пользование.

Я сразу проснулась. Во мне нет собственника. Я не гналась за собственностью. Но я всегда считала, что частная собственность — одна из гарантий личной свободы, что надо стремиться не к ее уничтожению, а к тому, чтобы у всякого человека была собственность. Я считала одной из главных обязанностей партии объяснить это толпе и отстаивать собственность как одну из основ строя. Я попросила у Черненкова объяснения, почему он предлагает раздавать землю только в пользование.

С обычной своей скучной обстоятельностью, он пояснил, что этот вопрос надо ставить шире, так как и в кадетской партии есть люди, считающие, что земля Божья. Если заговорить о собственности, это может вызвать раскол. А кроме того мы должны стараться привлечь широкие массы избирателей. Их оттолкнет слово собственность.

Это вызвало горячие споры. Многие меня поддержали, подтверждая, что мы только либералы, а не социалисты, что мы за собственность. Но и защитники у Черненкова нашлись. Самым страстным оказался А. А. Корнилов, многолетний секретарь ЦК, один из тех работников, на которых держалась партия, ближайший друг кн. Д. А. Шаховского, — словом, настоящий, правоверный кадет. Горячо, резко, напал он на меня, доказывал, что кадетизм совсем не обязательно стоял за собственность, что можно быть кадетом и поддерживать все виды национализации. И закончил совершенно неожиданной угрозой:

— Что касается меня, то я прямо заявляю Центральному Комитету, что если вместо „пользования” будет сказано „собственность”, то я выхожу из партии.

Корнилов вообще был человек разумный, но все это было сказано с такой страстностью, которая показала, как эмоциональные переживания революции поколебали здравый смысл даже таких, казалось бы, выдержанных людей.

Его успокоили, уговорили. Не помню твердо, но, кажется, сохранили черненковскую формулу. Практически это не имело никакого значения. Учредилка, как известно, никогда не заседала (т. е. после первого заседания, разогнанного матросом, у нее не было ни одного другого заседания).



Но на меня этот спор произвел впечатление сильное и тягостное.

То ощущение зыбкости, которое после первой радости свободы и достижения стало, разрастаясь, гасить уверенность, сразу усилилось. Что же мы можем противопоставить социалистам, если даже в таком основном вопросе среди кадет нет полной уверенности. На что же опереться?

Точно подошел к краю обрыва, а земля ползет. Но мы еще не знали, что это не обрыв, а настоящая пропасть. Старались выйти на дорогу. Писали, печатали, раздавали брошюры, устраивали митинги, говорили речи. Слушателей было сколько угодно, как ни велика была зала, она всегда была набита. Но все труднее было получить от аудитории разумные отклики.

Как-то я председательствовала на собрании в большой зале городской думы. Со стены за эстрадой был, конечно, убран украшавший ее до революции портрет Николая II во весь рост. Зала была увешана кадетскими плакатами и нашими зелеными знаменами. Зеленый цвет был кадетский цвет. Но мы так мало придавали значения символам, внешности, эмоциям, что ни других, ни себя не приучили связывать себя с зеленым. Зала была переполнена, речи текли умные, умелые. И вдруг на эстраду, никого не спрашиваясь, никого не слушаясь, проталкиваясь через стулья, на которых чинно сидели кадетские нотабли, ворвалась женщина в ситцевой кофточке, с плохо причесанными волосами, с лицом раскрасневшимся и возбужденным.

Как только оратор, говоривший об Учредилке, о том правовом порядке, который она наконец установит в России и как все тогда будут счастливы, кончил свою речь, моя баба ринулась к опустевшей

трибуне и громким, звонким голосом крикнула на всю залу:

— Не надо ни прав, ни свобод, дайте нам только двадцать пять рублей пайков.

Сказала, повернулась и так же бурно бросилась обратно в залу.

Появление этой солдатки произвело большой эффект. Одни смеялись, другие бурно аплодировали. А у меня ее простая понятная программа крепко засела в памяти. Часто, прислушиваясь к щедрым обещаниям, золотой рекой лившимся в неопытные мозги толпы, я вспоминала эту женщину и ее искренний вопль:

— Не надо нам ни прав, ни свобод, только дайте нам двадцать пять рублей пайков.

И тягучее темное чувство виновности вставало в сердце. Мы их всех подняли на дыбы, перемутили, что-то наобещали, не думая о том, что эти обещания больше отвечают нашим собственным потребностям, чем сегодняшним назревшим нуждам народа. Мы все — и кадеты, и все, что были левее нас, — в сущности навязали народу то, что изобрели по своим кабинетам. В низах были и трудности, и лишения, и страдания, но лекарство мы предлагали на свой образец, не на их.

В день выборов в Учредилку другая женщина еще острее, больнее пробудила во мне это сознание.

Я уже твердо знала, что никакой Учредилки не будет. Мне надо было заставить себя подать бюллетень. Я это сделала почти с отвращением. Когда я выходила из камеры, рядом со мной вышла женщина, еще не старая, веселая, неряшливо одетая, разбитная. Она сразу заговорила со мной.

— Что, вы тоже уже подали бюллетень? — спросила я ее.

— Подала, — удалым голосом ответила она.

— Небось за третий номер?

Это был бюллетень эсеров. За них многие подавали, потому что третий номер принимали за „З” (земля), т. е. за обещание всех наградить землей. Да эсеры действительно обещали всем землю.

— Да уж натурально за третий. Земли каждому хочется.

— Да ведь вы в городе живете? Вы чем, собственно, занимаетесь?

— Да я, барыня, улицы мету. Получала прежде 20 рублей с копейками. Теперь 175 назначили.

Она громко добродушно расхохоталась, блестя белыми зубами, как-то особенно молодецки приотпнула каблуком и, глядя на меня лукавыми серыми глазами, насмешливо бросила:

— А когда вся эта волынка кончится, опять за 20 рублей мести буду. Мне что! Эх ты!

И побежала дальше.

Каждый день революции приносил новые эпизоды, и каждый эпизод закреплял во мне горькое чувство виновности перед Россией, перед русским народом. Особенно когда из низов доносились голоса, несравненно более трезвые, здравомыслящие, чем то, что слышалось на митингах, в газетах, в Совете Солдатских и Рабочих Депутатов.

Вокруг нас на Вергеже (имение отца) крестьяне оставались спокойны. Мама и Аркадий (брат) по-прежнему вели хозяйство. Его порядок не нарушался. По-прежнему отправляли каждый день молоко в Петроград, что требует твердо установленной работы. По-прежнему нанимались рабочие руки. Молодежь вся была на фронте. Мои племянники дрались. Один из них, Володя „Бублик” (Тырков, сын брата), сын Сергея, унаследовавший от отца веселость и удалство, уже был убит на фронте в одной из лихих вылазок против немцев. Моя дочь все еще была

сестрой в передовом отряде, хотя из-за все растущей солдатской распущенности и травли офицеров эта служба приняла мучительный характер. И опасный. Сын был в тылу, увлекся политической борьбой, старался в кадетских рядах противостоять надвигающемуся хаосу.

Вергежа без молодежи затихла, но мама среди всех событий сохраняла светлую ясность. Ее вера в человека, в свойственное ему прирожденное добро, никакие события не могли поколебать и не колебали. Кооператоры бережно следили за тем, чтобы у Аркадия не было никаких неприятностей от соседей. Да у местных крестьян не было еще агрессивности, только некоторая хмурость. Точно прислушивались, боялись что-то пропустить. А сами никуда и ни на что пока не бросались.

В один из наших приездов мы с Вильямсом разговорились в поле с крестьянином из соседней деревни, Остров. Островские были от нас дальше. Между ними и Тырковской семьей не было такой близости, как с вергежскими мужиками. С землей, принадлежавшей островским, соприкасались бывшие тырковские владения. Их от моего дяди давно купил купец Дыренков. Он никакого хозяйства не вел, отдавал луга исполу крестьянам. Во многих местах такие земли, в которые владельцы не вкладывали никаких забот, крестьяне уже захватили. Я вздумала спросить островского мужика:

— Ну а как с дыренковскими угожьями?

Он посмотрел на меня исподлобья укоризненно.

— Что с дыренковскими? Мы их не трогаем. Мы нового закона ждем.

Это было сказано тогда, когда из всех политических центров летели приказы:

— Долой помещиков. Берите у них все. Земля Божья.

Только в этом случае левые партии и употребляли имя Божье.

Меня слова нашего соседа поразили и смутили своей спокойной мудростью. Это был не единственный случай, когда немногословные суждения простых людей призывали нас к здравому смыслу, напоминали, что не низы толкнули, а верхи потянули на революцию.

Особенно запомнились два мимоходом подхваченные замечания. Оба я слышала дорогой на Кавказ, куда ездил подлечить и успокоить сердце, слишком разволновавшееся от всего, что накатило.

На одной из станций, уже в казачьих землях, кажется, на Дону, мы с Вильямсом вышли рано утром на платформу. Кругом сияла весенняя красота. Казачки, блестя белыми зубами, продавали проезжим пирожки, ватрушки, жареных цыплят, утят. Я набрала у одной из них вкусных вещей, за какую-то совершенно ничтожную цену. По закоренелой интеллигентской привычке захотелось узнать, что думает эта степная красавица.

— Ну вот, теперь все будет по-новому, как народу лучше. Вот и царя нет, все стали свободными, — довольно неуклюже сказала я.

Из-под черных бровей быстрые глаза посмотрели на меня с укоризной.

— Да... Нет царя... А мы его за Бога почитали, — тихо сказала она и в ее голосе не было ни тени торжества.

Только печаль.

Уже раньше, в том же поезде, был у нас очень любопытный разговор с крестьянином. Мы ехали в первом классе. Пассажиров почти не было. Где-то за Москвой, приблизительно в Курской губернии, в нашем коридоре очутился мужик, не старый, но и

не молодой, одетый в те кустарные ткани, которые в той местности еще носили в деревне. Поездная дисциплина уже была расшатана, в вагоны набивались люди без билетов. Ни мы, ни кондуктор не обращали внимания на этого серенького мужичка. Потом от нечего делать заговорили с ним и были поражены спокойной твердостью его суждений. Он был малоземельный, признавал, что мужикам надо земли дать, но прибавлял:

— Вот как немца выгоним, тогда все эти дела разберем. А пока погодить надо.

Потом вдруг среди разговора, что-то блеснуло в небольших серых глазах, точно молния на мгновение озарила загорелое лицо, изрытое глубокими морщинами, которые на лицах землеробов всех стран прорезает солнце, ветер, дождь и потная, напряженная работа в ведро и непогоду.

Мужик молча, внимательно осмотрел нас обоих, потом с расстановкой, с угрюмой медлительностью сказал:

— Какая была держава, а что, господа, вы с ней сделали...

И отвернулся к окну, точно ему даже смотреть на нас было неприятно.

Вильямс так хорошо уже говорил по-русски, что мужику и в голову не пришло, что он разговаривает с англичанином. Он нас причислил к тем господам, которые добивались свободы и добились революции. Он был прав. Ведь и Вильямс в течение нескольких лет всем сердцем сочувствовал тому, что называлось освободительными стремлениями.

Но в нас обоих, как и во многих кругом нас, началось наконец отрезвление. Жизнь давала жестокие уроки, растоптала иллюзии, громоздила опасности, вскрывала обманчивость политических иллюзий. И эти слова курского мужика: „Какая была держава,

а что, господа, вы с ней сделали”, — запомнились, возвращались, укоряли.

Но среди столичной политической суеты, временами превращавшейся в вакханалию, уже не долетали до нас отголоски народного здравого смысла. Их заглушали революционные призывы. Все яснее становилось, что слева берут верх те, кто ставит ставку на немедленный мир и на немедленную социальную революцию.

Временное Правительство, хотя во главе его теперь уже стоял социалист Керенский, еще пыталось противостоять этой умелой и страстной агитации. Но его слабость становилась все более очевидной. Оно стремилось как-нибудь довести страну до Учредительного Собрания, а пока старалось создать себе хоть какие-нибудь точки опоры, собирало совещания, наскоро провело в городах выборы в городские думы. Главным образом потому, что не хватало мужества создать какое-то ядро принудительной власти, заставить себя слушаться. Все совещания, включая живописное и страшное Государственное Совещание в Москве (в августе) были только лишними говорилками, где в словах расплывалась воля к действию, сознание необходимости, неотложности действий.

И в городской думе, которая, казалось бы, предназначалась для практической насущной работы, заседания тоже сразу приняли характер повседневных митингов.

Выбрана она была, конечно, по всем канонам демократического и избирательного права, по семихвостке. Но попала в нее не демократия, а все та же интеллигенция. Я тоже очутилась в числе гласных и с первого же заседания увидела все знакомые лица. Только на крайнем левом секторе, где сидели большевики, было много новых для меня лиц. Почти

все были эмигранты, или вернувшиеся из ссылки. Рабочих, от имени которых они говорили, почти не было.

Мы, кадеты, очутились на крайне правом фланге. Правее нас никого не было. Между нами и большевиками разместились дробные социалистические фракции. Не помню точно, как расселись они по чинам левизны. Около кадет были смирные социалисты-оборонцы, трудовики, народные социалисты, плехановцы, потом шли меньшевики с.-д. интернационалисты, затем эсеры, правые и левые. Как-то, пробегая мимо меня, молодой эсер, которого я подкупила резкой правдивостью суждений, остановился и стал рассказывать, как дробится его партия. Он насчитал восемь фракций, в каждой был свой маленький лидер с большим честолюбием. Не дробились только большевики и кадеты.

Хотя городские учреждения существовали для будничных нужд жителей, в этих заседаниях меньше всего было разговора о трамваях, водопроводах, больницах, ассенизации, вообще о каких бы то ни было практических делах. Если не считать повышения жалования всем, всем, всем. Уважение к бюджетному балансу уменьшалось справа налево. На неизменный кадетский призыв: „А кредиты на это есть? А деньги откуда взять?“ — слева раздавались неизменные ответы: „Обложите банки, купцов, промышленников, пусть платят“.

Почему-то мне особенно хорошо запомнился чернявый докладчик, который предлагал городской думе увеличить жалование сторожам на портомойнях. Он хотел, чтобы им платили 175 рублей в месяц. Я с места спросила:

— А сколько они сейчас получают?

Он немного замялся и уже не таким патетическим митинговым голосом сообщил:



— 25 рублей в месяц.

Даже на левых скамьях раздался хохот. Даже там увеличение жалования в семь раз показалось смешным. Но все-таки они голосовали за эту нелепость и провели ее. Т. е. провели ее как постановление думы, а что на практике вышло, кто его знает.

В то время удорожание жизни, а главное — ее обнищание, еще только начиналось и 175 руб. было хорошим жалованием. Ну, а когда дело дошло до осуществления, если оно до этого дошло, то, вероятно, ценность рубля уже упала до копейки.

Левые товарищи усердно пользовались думой, чтобы выносить резолюции на все события, русские и иностранные. Тут сговориться было еще труднее, чем в вопросах о портомойнях. И в отношении к войне, и в отношении к союзникам у той и другой стороны были твердо установленные взгляды. Но между кадетами и социалистами-пораженцами мелькали социалисты-патриоты оборонцы. Они играли роль посредников, искали приемлемых для всех формул, хлопотали около редакционных комиссий. Еще летом, особенно сразу после большевистской генеральной репетиции 4-го июля, в таких комиссиях иногда и удавалось состряпать, хотя и неуклюжую, но общую резолюцию.

Меня очень забавляло, пожалуй, даже льстило моему самолюбию, что левые настойчиво просили меня принимать участие в их редактировании. Они отлично знали, что я против мира без аннексий и контрибуций, что я стою за восстановление строгой дисциплины в войсках, что во мне нет ни малейшего налета красности. Но им нравился мой русский язык. Сами они обращались с ним довольно неуклюже. И потом они уверяли, что я умею ясно формулировать.

Тут, может быть, они ошибались. Все мы тогда не очень ясно думали. А тут еще заседания городской думы происходили по вечерам. Прения тянулись, расплывались. Итоги подводились уже после полуночи. А потом начинались тягучие споры из-за слов в редакционной комиссии. В конце концов голова пухла от поправок, вставок и оговорок. Но так как в глубине души я была уже уверена, что вся эта чепуха добром не кончится, то я кое-как вытаскивала резолюцию из словесного болота, стараясь только сохранить основной скелет: война до победы и Учредительное Собрание. Иногда случалось возиться с этими резолюциями до двух, до трех часов ночи и потом возвращаться пешком через спящий город, прислушиваясь к редким выстрелам. Никто даже не старался понять, кто стрелял, в кого, зачем?

Эти заседания городской думы, несмотря на свою беспорядочность и претенциозность, все-таки были местом, где общественное мнение могло проявляться.

Из городской думы раздавались смелые призывы к порядку, к дисциплине. Шли напоминания о том, что отечество в опасности.

Когда Корнилов потребовал от Временного Правительства восстановления смертной казни в армии и социалисты подняли бешенную агитацию против этой необходимой меры, В. Д. Набоков произнес в думе вдохновенную речь за смертную казнь. Из всех его речей это была самая мужественная. Как юрист, как либеральный правовед и гуманист, он был убежденный противник смертной казни, написал об этом много статей, произнес много речей. Но в эти поворотные, решающие для России месяцы, он понял, что спасти армию, вести дальше войну до победного конца можно только при суровой дисциплине и он имел смелость сказать это во всеулыша-

ние. Зато, конечно, слева его заклеямили словом — ренегат.

Ни благородная честность Набокова, ни многие другие заявления не помогли. Армия продолжала разлагаться. А в тылу росло влияние большевиков. Эти два явления шли бок о бок.

4 июля Ленин проделал то, что он позже назвал генеральной репетицией революции. Из Кронштадта пришли и стали на Неве корабли. На них приехали матросы, чтобы помочь большевикам захватить власть. „Краса и гордость” революции, так называл матросов Чернов. Троцкий, как большевик, раздувавший пламя революции, привел их. Он правильно рассчитал. А для нас эти матросы были воплощением того, что нас пугало и отталкивало. На их руках была кровь убитых ими морских офицеров. На их лицах — наглость победителей. Я еще не знала, что корабли пришли из Кронштадта, когда встретила на Литейной несколько открытых грузовиков, наполненных матросами, их женами и детьми. Они ехали с матрасами, подушками, чемоданами. Краснели стеганные одеяла, развивались красные флаги. Сияли физиономии ребятишек, гордо возвышались фигуры отцов, увешанных пулеметными лентами. Сзади, спереди, с боков торчали ружья и пулеметы. И все это с гамом и шумом с нескладными песнями мчалось по широкой, красивой улице. Победители, ворвавшиеся в завоеванную столицу. Прохожие останавливались, с недоумением провожали глазами эту дикую процессию, спрашивали друг друга — что это значит?

Тогда еще люди не боялись друг друга, не боялись заговорить с незнакомым.

Не знаю, куда проехали матросы. Кажется, в гвардейский экипаж. До вечера в городе было еще довольно спокойно. Вечером я пошла в городскую

думу на обычное заседание и нашла всеобщее волнение и переполох. Никакой повестки, никакого порядка дня не было. На кафедре быстро сменялись один гласный за другим. Помилуйте, флот двинулся против столицы.

Нервно и возбужденно гласные сообщали:

- Матросы идут вдоль Невского.
- Матросы идут на Таврический Дворец.
- Матросы идут на Мариинский Дворец.
- Матросы заняли телеграф.
- Матросы идут... Матросы идут.

Все это говорилось бестолково, отрывисто. Было совершенно ясно, что эти вестники знают так же мало, как и мы сами. Но им хотелось быть вестниками из греческой трагедии, хотя на самом деле они производили впечатление балаганных Петрушек.

Мне это надоело и я спросила:

— Но где же неприятель? Против кого же они идут?

И вдруг на противоположном конце зала поднялся до сих пор молчавший Луначарский и с галантным поклоном в мою сторону насмешливо сказал: „Против вас, г-жа Тыркова”, — и сел.

На мгновение осведомительная истерика прекратилась. По всем скамьям пробежал смех. Я весело сказала:

— Против меня не стоило везти столько пулеметов.

Городской голова Гр. Шнейдер нашел такую перемену настроения неприличным. Он был мрачный эсер. Он, конечно, знал, что матросов вызвали их (эсеров) политические противники, большевики, но все-таки революционная солидарность — вещь священная. С серьезным деловым видом он внес предложение:

— Мы, к сожалению, не знаем, при каких обстоятельствах корабли из Кронштадта пришли сюда. Но товарищи матросы самоотверженно служат делу революции. Они приехали с женами и детьми. Уже подходит ночь. Я предлагаю городской думе озаботиться тем, чтобы они были размещены и накормлены.

Гром аплодисментов. Я вскочила и попросила слова:

— А я считаю, что эти матросы с одеялами, женами, детьми, подушками и пулеметами должны поскорее сесть на свои корабли и отплыть обратно в Кронштадт. Там у них есть и квартира и еда. Здесь им делать нечего.

Господи, какой поднялся шум. Кричали с места, махали руками, прыгали на кафедру, бегали вокруг кафедры, кипели негодованием.

— Возмутительно, безобразно, как вы смеее. Тыркова хочет уморить голодом детей и доблестных борцов революции... Стыдно, Тыркова.

Тырковой было нисколько не стыдно, но очень смешно. Вся кадетская фракция потешалась над этой страшной картиной: Тыркова морит голодом матросских детей...

Но опять замелькали вестники, сообщая, что матросы приближаются. Действительно до залы все явственнее доносилось потрескивание пулеметов. На меня напало любопытство. Я пошла посмотреть, что делается на улице. Со мной вместе пошел член Управы Коренев и еще несколько человек. Не успели мы выйти на широкую площадку, с которой спускается лестница на Невский, как пулеметы затрещали совсем близко. Несколько пуль ударило в штукатурку. Долговязый Коренев сразу бросился ничком и мне крикнул:

— Ариадна Владимировна, ложитесь!

Я стремительно легла. Мы все лежали, притаившись за балюстрадой. Пулеметы всё верещали. Не поднимая головы, я предложила:

— А ну-ка, господа, поползем назад. Насмотрелись.

И мы на четвереньках, целой процессией, вернулись в просторную переднюю. Там мы уже были под защитой стен. Туда пули не долетали. Треск приближавшихся пулеметов немного прояснил мозги наших левых товарищей. При всем своем восхищении перед матросами, они все-таки нашли, что это неудобно, когда на улицах стреляют неизвестно почему, стреляют во всех направлениях. Стали предлагать резолюции не то что протеста, но скромного уговора, что, дескать, не волнуйтесь, скоро соберется Учредительное Собрание и исполнит все желания народа.

С этой резолюцией мы долго провозились. Сначала тянулись бесконечные прения. Не знаю, как несчастные стенографистки осилили все беспорядочные восклицания и междометия. Потом пошла возня в согласительной комиссии. Наконец мы высидели какую-то бледную, вежливую формулу, когда на самом деле нужно было только короткое и резкое осуждение.

Восточное небо уже розовело, когда мы вышли из думы. Посветлевшие улицы опустели. Несколько стенографисток, тоже живших на Песках, терпеливо ждали меня. Им было не так страшно идти вместе с Корневым, который тоже жил в наших краях /и шел/, подбадривая их шутками. Он был нашим поводырем в этом довольно длинном путешествии от городской думы до Песков.

В городе было тихо. Тем резче звучали выстрелы, когда они вдруг срывались то с той, то с другой стороны. Мы останавливались, приникали к стенам

домов. Ни защиты, ни укрытия неоткуда было ждать. Все двери, все ворота были на запоре.

Выстрелы умолкли, Коренев, как разведчик, доходил до следующего перекрестка, оттуда давал нам знак — „идите”.

Мы шли, пока не раздавались следующие выстрелы. Опять останавливались. Опять шли. Так и разбрелись по домам. Никто нас не подстрелил, но никто и не защитил.

Тогда еще страх не был преобладающим чувством русских людей. И нам было не страшно. Даже мои милые приятельницы-стенографистки, хотя им и казалось, что они за меня цепляются, на самом деле мужественно пробирались сквозь революционную анархию.

Я не знаю, почему в тот вечер матросы не арестовали всех министров, и нас заодно, вообще всех, кого им хотелось. Вероятно, потому что большевики еще не были готовы, а матросы не знали, что им делать. Я не помню, а может быть, тогда не знала, насколько сильное сопротивление им было оказано... Или их просто уговорили сесть на корабли и ехать обратно.

Во всяком случае первый напор большевиков не удался. Он даже вызвал некоторую здоровую реакцию. К сожалению, слишком слабую, слишком кратковременную.

Временное правительство точно проснулось. Несколько видных большевиков, включая Троцкого, были арестованы. Ленин скрылся. Большевики притихли. Но правительство Керенского, который уже заменил кн. Львова, оказалось таким же вялым, неспособным к действиям, как и правительство Львова. Ни на фронте, ни в тылу не приняло оно никаких решительных мер для водворения порядка. Под напором Петроградского совета, где влияние

большевиков все росло, большевиков продержали под арестом только несколько дней и выпустили. Выйдя из тюрьмы, они с еще большей энергией стали проповедовать вооруженное восстание, немедленный мир, немедленное „грабь награбленное”. Они давали столько соблазнительных обещаний, так заманчиво рисовали будущий социалистический рай, что нельзя было за ними не идти, нельзя было им не верить. Некоторые из них и сами верили своим словам. Но далеко не все.

Главный соблазн большевизма был в том, что они предложили немедленно остановить войну, уговаривали солдат немедленно уходить домой. Против этого нельзя было устоять. Власть над народным воображением давалась тому, кто обещал мир. Если бы царь заключил с Вильгельмом мир, престол остался бы за ним. Если бы у Временного Правительства хватило дерзости идти на мир, власть осталась бы за ним. Но ни царь, не сменившая его оппозиция не допускали и мысли о мире. Они считали это изменой России и союзникам. Даже вчерашний пораженец Керенский жаждал победы и, разъезжая по фронту, с истерическим красноречием призывал солдат к воинским подвигам.

Они слушали, ухмылялись и лущили семечки.

Но каким-то чудом все-таки от Балтийского моря до Черного стоял русский фронт. Немцы боялись снять свои дивизии и отправить их на западный фронт, где французы и англичане, стиснув зубы, продолжали бороться.

А у нас командование бессильно пыталось скрепить армию, вернуть ей воинский вид. Создавались ударные батальоны, куда входила патриотическая молодежь. Затеяли даже женские батальоны, их поместили в Инженерном Замке, бывшем дворце Павла I. Прохожие могли сквозь старинную чугу-



ную решетку смотреть, как на просторном дворе молодые девушки в солдатской форме обучаются строю. Бочкарева, руководившая этой затеей, просила меня приехать на учение и написать о них статью. Я отказалась. Мне было нестерпимо, мне было тошно думать, что Россия дошла до того, что ее защищают только женщины.

Мне вообще было тяжело и тошно. Я не скажу, понимала, но всем своим существом чувствовала, что мы сорвались с обрыва и летим куда-то. Не было точки опоры, не было сильной руки. Все сыпалось.

С особой трагической ясностью испытала я это в Москве на Государственном Совещании, которое созвал Керенский.

Ведь и у него не могло не быть этого ощущения осыпи. У него тоже не было точки опоры. Партия эсеров, с которой была связана вся его политическая карьера, была еще меньше, чем кадеты, подготовлена к государственной работе. Революционеры, террористы и пораженцы, как могли они помогать тому, кто теперь стремился создать порядок, устройство и продолжать войну. В Петроградском совете, быстро левевшем, Керенский уже терял популярность. Вокруг него наскоро группировались те, кого крайние левые пренебрежительно называли социал-патриотами. Из них самым крупным был Савинков. По-видимому, и самым умным в этой среде. Я Савинкова тогда совсем не знала. Позже мельком встретила его в Париже.

Керенского я тоже очень мало знала. Я уже писала, что на меня он никогда не производил впечатления крупного человека. В его адвокатской профессии было много людей более ярких, более знающих, более умных. И как оратор он был на второй линии. Не было в нем ни блеска, ни той гипнотической си-

лы, которая покоряет толпу, была редкая для русского человека жажда власти, положения. Он хотел быть на виду, он этого искал, добивался. В западных политиках эта черта обычная, в русских — сравнительно редкая, хотя по существу в ней ничего худого нет. Но в Керенском было какое-то мальчишеское подпрыгивание, какая-то суетливость, не подходящая для роли государственного деятеля, которую он искал.

Может быть, он и сам это сознавал, потому что, став главой Всероссийского Правительства, он как-то старался остепениться, напускал на себя неподвижность, не поворачивал головы, придавал своему некрасивому, помятому лицу окаменелое выражение. В нем было много актерского и он, точно на генеральной репетиции, менял и модулировал голос, нащупывая более внушительные ноты. Злые языки говорили, что он изучал манеры и поведение Наполеона и старался ему подражать. Не случайно появился у Керенского новый жест — он закладывал два, а может быть три, пальца за борт застегнутой военной тужурки. Любимый жест Наполеона.

Ведь этот недавний пораженец был не только председателем Временного Правительства, но и военным министром. Он всюду появлялся в военной форме, что еще не придавало ему военной выправки.

4-го июля матросы где-то столкнулись с казаками. Среди матросов, кажется, не было убитых. Но они несколько казаков застрелили. Временное Правительство объявило по ним торжественную панихиду в Исаакиевском Соборе. Церковь была переполнена, и площадь залита народом. Мы с Вильямсом на панихиду опоздали. Мы только что начали подниматься по широкой лестнице, как из собора стали выходить министры.

Впереди всех шел Керенский. Между ним и остальными было несколько шагов той пустоты, которой полагается оттенять появление царственных особ. Дальше мелькали какие-то офицерские формы. Но Керенский спускался со ступенек в царственном одиночестве. И лицу своему он старался придать выражение, соответствующее обстоятельствам. Собор, широкая лестница, толпа, пришедшая сюда искать опоры после тревог и страхов, вызванных появлением матросов. Было что-то щемяще трагическое в этом появлении Керенского. Актер, играющий правителя. Другого правителя, кроме этого штатского, сделавшегося военачальником, у России не было.

Трагический контраст между тем, что Керенский мог дать, и тем, что должен был дать человек, поставленный на его место, с особой мрачной выразительностью выступил на Государственном Совете в Москве. Меня послала на Совет Петроградская дума. Предполагалось, что я скажу речь, но на меня все произвело такое тяжелое впечатление, что я была бы не в состоянии ее сказать.

Керенский собрал его, чтобы создать для власти какую-нибудь общественную опору, не зависящую от советов, которые уже заседали во всех городах России. На Совет были позваны все сколько-нибудь приметные люди, представители земств, городов, университетов, профессиональных организаций, советов. И армии. Тыл и фронт должны были встретиться в просторном зале Большого театра в Москве и вместе спасти Россию.

Я довольно подробно в моей книге по-английски „От свободы до Брест-Литовска” описала это совещание. Если доведется мне еще вернуться к сколько-нибудь нормальной жизни, я возьму оттуда свое описание. Пока скажу только, что эти три дня, что

мы — делегаты — провели в Большом театре, оставили в душе воспоминания тяжелые и унижительные.

Речи лились бесконечным потоком. В них было много смелой, горькой правды, на которую горячо отзывалась часть присутствующих. Они болели за Россию, боялись за нее. Самые простые, самые сильные слова были сказаны генералами. Они пришли, чтобы сказать, что русская армия гибнет не в борьбе с внешним врагом, а от разъедающей ее анархии.

В ответ на призыв военных вождей делегаты-солдаты, занимавшие сплошь несколько рядов в партере, отворачивались, ухмылялись, а то и просто нагло посмеивались.

Солдатня не встала, когда Керенский предложил приветствовать главнокомандующего.

С такой неотразимой красочной выразительностью встала перед нами вражда между командирами и солдатами, что трудно было найти в себе мужество продолжать призывы к борьбе до победы.

Мы сидели в театре, где сама жизнь была режиссером, где перед нами проходили актеры исторической трагедии, где главным лицом была Россия. Мы явственно видели, как тяжелая рука судьбы наносит ей удары. И мы изнемогали от бессилия, мы не могли отворотить их, не могли защитить ее. Вокруг меня было немало хороших людей, готовых жизнь свою отдать за родину. Что они потом и доказали. А на эстраде за длинным столом сидели министры, преисполненные благих устремлений, включая и Керенского.

Он не только занимал председательское место, но его прямое кресло было выше других. Не знаю, взяли ли его из бутафорных театральных кладовых или принесли из Кремлевского дворца, но это кресло напоминало трон. Мне даже почудилось, что на шаф-

рованной обивке спинки я вижу золотых пчел, как у Наполеона. А за креслом вытянулись два молодых адъютанта в какой-то фантастической форме. Рынды, как, бывало, стояли у трона московских царей.

Из всего этого министерского стола мне больше всего запомнились статные рынды, нервная фигура Керенского, тщетно старавшегося не слишком егозить и не слишком тонуть в своем глубоком кресле, и затем министр земледелия Чернов.

Он сидел сбоку стола, почти под самой трибуной, и снизу вверх, хихикая, поглядывал на ораторов. Маленький, щупленький, с острой седой бородкой, с острым личиком, он был похож на чертика и, как чертик, забавлялся, что род людской залез в такую путаницу. На министра Чернов совсем не был похож, да и вел себя так, точно ничем не связан с тем, кто сидит на высоком кресле и произносит высокие речи о защите отечества. Чернов аплодировал только пораженческим речам, генералов слушал так же пренебрежительно, как слушали их солдаты. Не помню, на этом ли совещании или где-то в какой-нибудь другой речи он произнес вульгарное, липкое слово „субсидка”, и мне стало физически противно. Этот вульгарный человек был идеологом эсеровской партии, которая считала себя вправе убивать людей без суда и следствия. И в то же время при одном упоминании о субсидии на его лице появлялось сладострастное выражение.

Государственное Совещание началось с того, что солдаты и руководившие ими делегаты Советов всячески обрывали и срывали генералов. Кончилось оно истерическими выкриками Керенского, и на наших глазах, на глазах всей России он просто развалился, как сломанная игрушка.

Это была его заключительная речь. В ней была

мольба и угрозы, уговоры и упреки, факты и лирические выкрики. Не было в ней ни ясности, ни смысла. С огромной сцены Большого театра до нас долетали патетические слова, выкрики, междометия, все менее и менее связанные. Наконец речь оборвалась. Керенский, бледный, потный, в полном изнеможении упал в кресло, совершенно так же, как в начале революции упал он при мне на кресло в Таврическом Дворце. Но теперь это видели не три-четыре человека, а несколько тысяч, включая и дипломатический корпус, сотни журналистов, русских и иностранных. Мне стало так стыдно, что я оперлась локтями на барьер ложи и закрыла лицо обеими руками, чтобы не видеть этого позорища. Сердце сжималось от боли, от отчаяния. Пропала Россия.

Это была малодушная мысль. Россия не пропала, не могла пропасть. Но на наших глазах гибло в ней так много любимого. И должно было еще погибнуть так много любимых.

Государственное Собрание было явственным доказательством распада. Теперь верить в продолжение войны было уже невозможно. Но у Временного Правительства — вернее, у Керенского — не хватило ни ума, ни мужества, чтобы ее прекратить. Многие цеплялись за мечту об Учредительном Собрании, которое все устроит, все успокоит, выразит волю народа. Но его воля в те месяцы сводилась к двум словам: *долой войну!*

И в самой армии не оказалось силы сопротивления. Ее вожди пропустили момент в начале июля: после первого выступления большевиков еще можно было вооруженной рукой справиться с ними. В августе было уже поздно.

В дни, когда Корнилов шел на Петроград, я лежала больной в постели...

## Из воспоминаний офицера л-гв. Петроградского полка

### ЖИЗНЬ ЗАПАСНОГО ПОЛКА

В начале февраля, после повторного лечения в Крыму последствий грудного ранения, я приехал в Петроград и явился в запасной полк. Запасной полк располагался в зимних казармах л-гв. Измайловского полка по Измайловскому проспекту. Явившись по начальству, я был назначен младшим офицером в 1-ю роту, которой командовал Евгений Степанович Кобылинский\*, впоследствии назначенный Временным Правительством комендантом Александровского дворца в Царском Селе, где находилась арестованная Царская Семья. Полковник Кобылинский был любим офицерами и солдатами полка и пользовался среди них большим авторитетом. Будучи комендантом дворца, он своим тактом и доброжелательностью сумел скрасить тяжелые дни находившейся там Царской Семьи.

---

\* Полковнику Евгению Степановичу Кобылинскому в феврале 1917 г. было 38 лет. Он пошел на войну командиром роты лейб-гвардии Петроградского полка (3-я гвардейская дивизия), был тяжело ранен под Лодзью в ноябре 1914 г. Вернулся в полк в 1915 г., командовал батальоном. После тяжелой контузии в июне 1916 г. был направлен в запасной батальон, где его и встретил автор публикуемых воспоминаний. 8 марта был назначен ген. Корниловым начальником охраны Царской Семьи, которую он сопровождал также и при переезде в Тобольск, возглавляя ее охрану до 1 сентября 1917 г. — Р е д.

Придя в зап. роту, я был поражен ее численностью и расположением. Помещение, предназначенное для двух рот мирного времени, было наполнено тысячью запасных разных возрастов, расположенных на 2-ярусных нарах с оставлением узкого прохода вдоль окон. Много труда доставляло командному составу роты проверить число людей, выходящих на занятия и поверку, т. к. желающий скрыться от глаз начальства мог это свободно сделать, взобравшись на второй ярус нар, и притвориться спящим под видом вернувшегося из караула или наряда.

Тяжелый сырой воздух — от скопления такого количества людей и вымоченных дождем шинелей — мешал свободному дыханию и заставлял держать все окна открытыми, несмотря на холод. Наблюдение за запасными в свободное от службы время было невозможным по той же причине. Любой агитатор незаметно мог проникнуть в расположение роты. Мне совершенно неизвестно, велось ли в казармах наблюдение за политической благонадежностью запасных со стороны жандармских и полицейских властей — думаю, что нет, гвардейский жандармский дивизион был на фронте, полиция же в казарму не допускалась. Во всяком случае, при поверхностном взгляде на роту, в которую я был назначен, казалось, все было благополучным, служба велась правильно, занятия велись интенсивно и признаков, указывающих на недовольство, не было. Занятия обычно велись или во дворе казарм, или на прилегающих к ним улицах.

Внешний вид запасной роты далеко не напоминал собой гвардейских солдат. Единственно кто выделялся из этой, так сказать, вооруженной толпы, — это обучавшие их унтер-офицеры, уже побывавшие в боях раненые и вернувшиеся после излечения в



свою запасную часть. Их опрятный, строевой вид, гордость своим полком, знание службы — далеко не гармонировали с видом обучавшихся запасных, и им приходилось приложить много труда и усилий, чтобы в короткий срок из своих питомцев сделать воинов, готовых для комплектования маршевых рот.

Я с чувством глубокого уважения, гордости и благодарности посвящаю несколько строк своих воспоминаний унтер-офицерскому составу своего полка и преклоняюсь перед геройской смертью многих из них, беспрекословно исполнивших боевой приказ.

Можно без преувеличения сказать, что унтер-офицерский состав был цементом, на котором держалась рота, часто менявшая из-за ранений своих ротных командиров.

Унтер-офицерам было поручено воспитание и строевое обучение запасных, многих не державших никогда в руках винтовки, оторванных от семьи, от фабричного станка. Особенно вредным элементом среди запасных были штрафные рабочие, которых за саботаж и разные проступки на фабриках в наказание посылали на фронт, предварительно обучив их в запасных частях боевой службе. Они, соприкасаясь с более восприимчивым элементом запасных, усталых от войны, развращали его, указывая ему, что его враг не немец, а русский буржуй и его припешник офицер. Что мог сделать ближайший начальник и как уследить за политической благонадежностью тысячи запасных? Каким образом могли ему помочь унтер-офицеры, которых запасные так же сторонились, как и офицеров, видя в них начальство, могущее их наказать? Ротный командир в запасной роте был поглощен ротной канцелярией, денежной и вещевой отчетностью и не мог уделить до-

статочно времени для воспитания роты, которая в политическом отношении была предоставлена самой себе, а также революционной пропаганде. Помощь ротному командиру со стороны младших офицеров также часто отсутствовала, так как на них возлагалось несение караульной службы, присутствие в различных комиссиях и они только и мечтали возможно скорее отправиться в действующую армию.

В офицерской среде и в собрании я никогда не слышал разговоров, из которых можно бы было заключить, что у них есть опасение надвигающихся грозных событий, что ожидаются беспорядки и что у солдат растет к ним вражда и недоверие. Даже такой факт, как убийство Распутина, не вызвал среди офицеров полка большого внимания и ему не придавали никакого значения. Наоборот, вера в нашу победу крепла и мысль о революции не приходила в голову. Полковая офицерская среда, несмотря на большую убыль убитыми и пополнение молодыми прапорщиками, была сплочена, и авторитет старшего в ней строго соблюдался. Одним словом, несмотря на некоторые наружные недостатки, казалось, что запасной полк представляет собой боевую силу, могущую быть предназначенной для несения гарнизонной и боевой службы. Насколько я помню, гвард. запасные полки не были сведены в дивизии и бригады, а управлялись Штабом запасных полков, во главе которого сперва находился генерал Чебыкин, а затем полк. л.-гв. Преображенского полка Павличенко. Штаб запасных частей находился в Петрограде на Васильевском Острове.

Жизнь в Петрограде текла обычным порядком, и только тревожные вести о наших больших потерях на фронте нарушали кажущееся благополучие.

## В ПРЕДДВЕРИИ БУНТА

В середине февраля я получил из штаба полка приказание взять полуроту учебной команды и 2 пулемета и идти на охрану завода „Динамо”, где, по сведениям штаба войск охраны, начались беспорядки среди рабочих. Придя в учебную команду и собрав людей, я объяснил им задачу и повел их на завод, находившийся в районе Нарвской заставы. Прибыв на место назначения, я оставил людей в боевой готовности, сам же отправился осматривать расположение завода. Ничто не указывало на признаки, по которым можно было судить о больших беспорядках и начинающихся волнениях (о которых я был информирован в штабе). Завод работал полным ходом, изготавливая ударные трубки для артиллерийских снарядов, инженеры, чертежники и сам директор деловито сновали по цехам завода, давая свои указания. Мне ничего не оставалось делать, как распустить моих людей для отдыха, а самому отправиться в директорский кабинет к телефону для доклада в штаб полка о полном порядке и спокойствии.

Завод был окружен высоким деревянным забором, имея двое ворот для одновременного впуска и выхода рабочих смен. Наружная охрана завода была поручена казачьему разъезду, который иногда появлялся у стен завода, но так же быстро исчезал.

Рабочие часы дневной смены рабочих приходили к концу и в скором времени ожидалось прибытие ночной смены для безостановочной работы завода.

Находясь в кабинете директора, где был городской телефон, и собираясь говорить с штабом полка, я был вызван взволнованным унтер-офицером моей команды, который доложил мне, что в инструментальном цехе рабочие портят токарные станки,

вставляя в зубчатки стальные пластинки, которые вызывают поломку зубьев, сопровождающуюся страшным визгом и снопами искр.

Быстро вбежав в вышеуказанный цех и убедившись в правильности доклада моего унтер-офицера, я закричал на рабочих, пристыдил их и пригрозил им употреблением оружия, если такие безобразия повторятся. В ответ на мои угрозы со стороны рабочих раздался свист, брань, сопровождающаяся лязгом железа. Инструментальный цех представлял собой громадную мастерскую, где, кроме станков, находились приводные ремни, получающие движение от колес, прикрепленных к потолку, куда вела железная лестница. Когда свист и крики прекратились, я услышал голос стоящего наверху у приводных ремней рабочего, который призывал токарей к неповиновению и насилию над „опричниками”. Чтобы прекратить это безобразие, я вызвал один взвод в цех, сам подошел с револьвером к лестнице, где находился агитатор, и, угрожая ему стрельбой, приказал спуститься вниз. Когда подстрекатель был внизу, я ударил его по голове рукояткой револьвера. Крики возобновились с новой силой, но в них уже не звучали слова угроз и ругани, а наоборот, слова жалоб и обиды.

Расставив вызванный мною взвод вдоль стены мастерской и подав команду „зарядить винтовки”, я объявил рабочим, что еще одна ломка станков, и я открываю по ним огонь, и добавил, что за происшедшую сейчас демонстрацию я оставляю рабочих без смены и запрещаю отходить от станков. Моя угроза произвела магическое действие. Сразу все успокоилось, слышались лишь приглушенные разговоры соседей по станкам и жалобы на якобы незаконные мои действия.

Начинало темнеть, и на заводе и прилегающих к нему улицах зажглись фонари. Снаружи завода, у его входных ворот, постепенно подходила ночная смена рабочих, образуя внушительную толпу, ожидавшую открытия ворот. Не желая допустить одновременного скопления рабочих двух смен у завода и могущего быть обсуждением событий, происшедших на заводе, я приказал входных ворот не открывать, а прибывшим рабочим предложил разойтись по домам и снова прийти к утренней смене. Сперва среди толпы слышался протест, но, узнав, что на заводе находится воинская сила, толпа, прекратив протесты, стала расходиться по домам. Когда казачий разъезд, обязанность которого была находиться у завода во время смены рабочих, доложил мне, что все рабочие разошлись и в окрестностях завода не обнаружено ни одного рабочего, я разрешил наказанной мною смене покинуть завод.

По уходе последнего рабочего с территории завода, сделав своей команде расчет для отдыха и выставив на заводе охрану, я отправился в директорский кабинет и на кожаном диване крепко уснул.

Разбудил меня часов в 8 телефонный звонок из штаба полка. Мне приказывалось вернуть людей в казарму, а самому отправиться в Штаб запасных частей и явиться к его начальнику, полковнику Павличенко. Не делая никаких предположений и не боясь никакой ответственности за свои поступки, я, отведя команду в казармы, поехал в Штаб запасных частей. Не помню ни слов, ни обращения полковника Павличенко, помню только, что мне делался выговор за грубое обращение с рабочими, за рукоприкладство и самовольное нарушение расписания смен рабочих на заводе „Динамо”. Предполагаю,

что директор завода сообщил в надлежащие места о происшествии на заводе, прося меня наказать.

Возможно, что забыл полковник Павличенко устав гарнизонной службы, где ясно сказано, что вызов воинской силы есть крайнее средство для подавления беспорядка, но если воинская сила вызвана, — здесь нету места уговариваниям, есть только средства пресечения и наказания.

Отмечу как курьез. В приказе генерала Хабалова, начальника войск охраны Петрограда, мои действия на заводе „Динамо” ставились как пример по своей решительности и инициативе, так как, по агентурным сведениям полиции, дневная и ночная смена рабочих завода „Динамо” должны были соединиться в одну группу для уличной манифестации и шествия по улицам столицы. Этот план случайно провалился, благодаря принятым мною мерам.

## БУНТ

В конце февраля в городе стали циркулировать слухи, что на почве недостатка продовольствия предполагаются забастовки на фабриках и выход рабочих на улицу. Для предупреждения подобных случаев и как мера противодействия им Штабом войск Петроградского округа был выработан план охраны столицы, с разделением ее на участки, которые по тревоге должны быть заняты различными частями войск, находящихся в столице, с названием частей и указанием границ участков.

Нашему запасному полку, после выделения из него нескольких офицерских караулов (помню Червинкин у Зимнего дворца), был предназначен участок охраны заводов Нарвской заставы, Вагоностроительный завод и Трамвайный парк. Мне, как

уже знавшему район Нарвской заставы, по тревоге нужно было занять Вагоностроительный завод, завод „Динамо” и прилегающие к ним улицы. Сила отряда, которым я должен был командовать, считалась приблизительно в 200 чел. запасных при 4-х офицерах и одном взводе учебной команды. Запасных чинов я совершенно не знал, так как только числился в 1-й зап. роте, занимая в запасном полку другие должности по строевой части.

25 февраля была объявлена тревога и воинские части — в том числе и моя часть — пошли занимать назначенные им участки и занимать караулы. Прибыв со своим отрядом на указанное по плану охраны место и расположив людей для отдыха, сам со своими офицерами штаба — капитаном Беляковым, поручиком А. Манигетти и подпоручиком Клостерманом — обошел вверенный мне район и наметил пункты обороны в случае нападения толпы. Первый день прошел спокойно и не предвещал никаких сюрпризов.

Приблизительно в 1 километре впереди моего участка, ближе к городу, находился участок полковника Евгения Степановича Кобылинского, занимавшего своим отрядом территорию Трамвайного парка (бастовавшего). Левее меня, начиная от Балтийского вокзала до взморья, несли охрану лейбегеря, кто был правее меня — мне установить не удалось, но я знал, что там находится Путиловский завод с его двадцатью тысячами рабочих.

Убедившись в правильности принятых мер предосторожности, я расположился в директорском кабинете завода „Динамо” и развлекал себя разговорами по телефону с моими петроградскими знакомыми, а также с полк. Кобылинским, который являлся, по плану охраны, моим прямым начальником.

Зимний день подходил к концу. Темень как-то сразу спустилась над городом, придав ему таинственно тревожный колорит.

Но вот раздались первые ружейные выстрелы в городе, сразу нарушившие мои предположения, что беспорядков не будет. Трудно было определить, где произошла стрельба и кто стрелял.

Спать ни я, ни чины моего отряда не могли. Чувствовалось, что происходит что-то необычное, от чего зависит судьба нашей родины и каждого из нас. У меня ни на минуту не появлялась мысль, что мои чины могут быть сочувствующими бунтовщиками, я был уверен, что в случае наступления толпы мои солдаты, по моей команде, откроют по ней огонь. Возможно, что я заразил своих людей решимостью к сопротивлению.

Соседние со мной участки безмолвствовали и как бы притаились. Стрельба в городе усиливалась, но определить место стрельбы было невозможно. Нужно было подождать утра, тогда все станет ясным, решил я и отправился в директорский кабинет к своему телефону.

Наступил рассвет. Стрельба не прекращалась, а яснее слышалась в разных частях города. Узнать, кто стреляет, мне так и не удалось. Телефон бездействовал из-за забастовки телефонисток, а воинская связь отсутствовала. По-видимому, каждый начальник был предоставлен самому себе, чем план охраны столицы был в корне нарушен.

Желая получить информацию у полиции, я пошел в находящийся в моем районе полицейский участок. Но и там ничего не добился. Спешно убежавший пристав бросил мне связку ключей от участка и пожелал мне полного благополучия. Городовые следовали за ним, но куда и зачем — я добиться не мог.



Только к вечеру, каким-то чудом, мне удалось связаться по телефону с полковником Кобылинским, передавшим мне новости. Кобылинский передал, что многие запасные полки без сопротивления перешли на сторону рабочих и вернулись в казармы, что тюрьмы и полицейские участки горят, подожженные бунтовщиками, что в городе стрельба, грабеж и пьянство и что дальнейшее сопротивление бесполезно. Он звал меня прийти к нему, выяснить обстановку и принять то или другое решение. Как громом поразило меня сообщение полковника Кобылинского. Прийти к нему для обсуждения создавшегося положения было для меня невозможно. Я не мог оставить своих офицеров и солдат без руководства, хотя бы на короткое время, тем более, что сведения, полученные от полковника Кобылинского, заставили меня принять меры по сопротивлению толпе бунтовщиков, которая, судя по звуку выстрелов, приближалась к моему участку обороны.

Не теряя ни минуты времени, я приказал людям немедленно строить „вагенбург” из интендантских обозных повозок, которые в большом количестве изготовлялись на вагоностроительном заводе. Нужно было видеть, с какой поспешностью люди, руководимые своими офицерами — шт.-капитаном Беляковым, поручиком Манигетти и подпоручиком Клостерманом, — вывозили эти повозки из мастерских завода, устанавливали их у Нарвских ворот и на прилегающих улицах, связывая их проволокой. Вагенбург был готов и мог задержать большое скопище наступающих до подхода подкрепления из соседнего участка. По крайней мере я так предполагал. Люди были укрыты за ближними строениями и только редкая цепь часовых охраняла вагенбург. Петроград погрузился в мрак, и только зарево зловеще освещало небо.

Беспорядочная стрельба то усиливалась, то утихла, приближаясь к моему участку обороны. Шальные пули в различных направлениях, со свистом пролетая, ударялись в стенки домов, пока не причиняя вреда моему отряду, находившемуся в укрытии. Только одним случайным попаданием был убит один рядовой в цепи, охраняющей подступы к вагенбургу.

Впоследствии этот убитый бунтовщиками солдат л.-гв. Петроградского полка, за неимением других жертв, был предан земле в Царском Селе, на главной аллее Александровского дворца, революционными властями как жертва революции.

Стрельба со стороны города по моему участку стала интенсивнее, и люди моего отряда заняли укрытия у повозок, отвечая на стрельбу. Вдруг, как по мановению волшебной палочки, стрельба в нашем направлении прекратилась, и со стороны города показались два ярких фонаря и приближающийся шум автомобиля. Предполагая, что это едет какое-либо должностное лицо или свое начальство, я приказал сделать проезд в вагенбурге и пропустить ехавшего. В это время началась стрельба в боковой улице моего участка, куда я поспешил узнать, в чем дело. Оказалось, что партия разведчиков Путиловского завода, пользуясь темнотой, подошла совсем близко к нашему расположению, но, будучи обстреляна моими людьми, разбежалась, оставив раненых и пленных. Из расспроса этих последних выяснилось, что они были посланы от большой группы Путиловских рабочих с целью узнать, где наш фланг, с тем, чтобы выйти нам в тыл и сломить наше сопротивление.

Вернувшись после выяснения этого к своему главному участку обороны (т. е. к Нарвским воротам), снова забаррикадированному повозками, я

застал поручика Манигетти с группой солдат, стоявших у крытого автомобиля, за рулем которого сидел дрожащий от страха шофер. Из моих расспросов, кто и зачем приехал на этом автомобиле, я узнал следующее. На нем приехали 4 солдата военно-автомобильной школы в качестве парламентариев, требующих прекращения сопротивления и возвращения в казармы. По словам здесь же стоявших чинов, одеты они были в новые офицерские бекешки из разграбленного Гвардейского экономического общества, и в таких же новых папахах с красными бантами вместо кокард. Поручик Манигетти недолго вел с ними переговоры. Он приказал ликвидировать их как грабителей и бунтовщиков, что было сделано беспрекословно солдатами.

За несколько дней до эвакуации Крыма Добровольческой армией в то время уже капитан Манигетти был убит в перестрелке с красными у Каховки. Вечная память этому храброму, прекрасному и блестящему офицеру, которого пощадили на войне немецкие пули и не пощадила своя русская, большевистская.

Сведения, полученные от захваченных вооруженных рабочих, не предвещали ничего утешительного. По их рассказам, все части Петроградского гарнизона перешли на сторону рабочих. Образовано новое Временное Правительство, а министры старого правительства арестованы. 20 000 рабочих Путиловского завода идут для ликвидации последнего сопротивления у Нарвской заставы. Сопrotивляться отряду в 200 человек вооруженным рабочим в 20 000 человек было бессмысленно, а поэтому единственным возможным решением в этот момент было отойти к Царскому Селу, где, казалось, можно было найти верные присяге части и совместно с ними продолжать сопротивление.

Другое решение — сдаться на милость революционной толпе — было для меня неприемлемым, а потому я, бросив свои оборонительные участки, не дожидаясь охвата с тылу, отдал приказание своему отряду двигаться походным порядком через Пулково в Царское Село.

Движение моего отряда, который в пути увеличивался численно потерявшими свои части людьми, представляло собой довольно печальную картину. Впереди шел я со своими офицерами, за мной, не в ногу, без равнения и с большими интервалами, люди с сонным усталым видом. За ними пленные везли повозку с моим убитым солдатом и наконец реквизированный грузовик с приставшими в пути пулеметами и захваченный у парламентариев автомобиль. Колонна далеко растянулась и со стороны могла быть принята за батальон пехоты, если не больше. Отстающих не было, так как каждый знал, что сзади ждет его расправа. Медленно двигалась колонна по шоссе к Пулкову. Падающий хлопьями снег таял под ногами, делал дорогу скользкой и замедлял наше движение. Стрельба и зарева оставались позади. Вера в то, что я найду верным присяге Царскосельский гарнизон, а может быть воинские части, не признавшие революционное правительство и пришедшие из Петрограда, внушала бодрость и настойчивость для достижения цели, для которой я стремился в Царское Село, и невольно передавалась чинам моего отряда. Мы шли спаянные верой в нашу правоту и это сознание воодушевляло нас. Показавшиеся впереди огоньки указывали, что уже недалеко Пулково, где мы сделаем привал, подкрепимся едой и обогреемся в тамошних трактирах. Вскоре отряд вошел в Пулково. Я разрешил всем разойтись по трактирам и сам пошел в ближайший, чтобы обогреться и обсохнуть. Усталость и три бес-

сонных ночи давали себя чувствовать и меня клонило ко сну. Но о сне нельзя было и думать.

Немного отдохнувшие и согрешившиеся люди выглядели бодрее и путь до Царского Села не пугал их.

Продолжая движение к Царскому Селу, мы должны были пройти село Александровское с его аккуратными домиками и огородами, тянувшимися вдоль шоссе, по которому мы двигались. Уже было достаточно светло, когда мой отряд поравнялся с селом Александровским. Но тут меня поразило обилие палаток на огородах и какие-то копошившиеся и умывавшиеся около них люди. Некоторые подбегали к моей двигающейся колонне с вопросом, куда идем и зачем. Оказалось, это был прибывший с фронта Гвардейский экипаж, спешно вызванный в Царское Село. Невольно возникает вопрос, для чего была вызвана эта прекрасная боевая часть с фронта. Уж не для того ли, чтобы вечером в день моего прихода в Царское Село объявить нейтралитет, а на другой день под водительством одного высокого лица идти в Государственную Думу и выражать свою верность новой революционной власти...

Наконец мы приближались к цели. Большие железные ворота, украшенные золотым орлом, указали нам, что мы вступаем в Царкосельский парк с его вековыми деревьями и историческим прошлым. Вдруг, как из-под земли, вырос разъезд Собственного Его Величества конвоя. Подскакав на приличное расстояние до моего отряда, уже принявшего строевой вид, разъезд круто повернул и поскакал обратно, даже не удостоверившись, кто мы, откуда мы и куда движемся. Царское Село еще безмятежно спало, когда я вступил в него.

Подойдя беспрепятственно к Александровскому дворцу, где имела пребывание Августейшая Семья Императора, я остановил свой отряд, разрешил ему стоять вольно, войдя через калитку ворот, поднялся по ступенькам наружной каменной лестницы в приемную дворца. Приблизительный распорядок покоев первого этажа мне был известен, т. к. я уже был в нем, имея счастье представиться Государыне, перед отъездом в действующую армию после первого ранения.

Ливрейный лакей (скороход), встретивший меня, на мое требование доложить обо мне дворцовому коменданту, проводил меня в кабинет коменданта, а сам удалился, чтобы доложить генералу Ресину.

Оставшись один в кабинете коменданта, я мысленно перенесся в то незабываемое прошлое, когда впервые вступил в эти дворцовые покои, имея счастье представиться Ее Величеству Государыне Императрице, Августейшей сестре милосердия дворцового лазарета, где я пользовался лечением после ранения.

Мои мысли были прерваны вошедшим в кабинет дворцовым комендантом Свиты Его Величества генерал-майором Ресиним. Мой утомленный вид, моя промокшая одежда далеко не соответствовали роскошной обстановке кабинета, и я сам себе казался жалким просителем, а не защитником Царского Трона.

Генерал был одет в тужурку с красными отворотами, в погонах свитского генерала. Я представился генералу, доложил о событиях в Петрограде, о переходе многих воинских частей на сторону бунтующих рабочих, о пожарах и погромах в столице и о тех сведениях, которые успел передать мне по телефону полковник Кобылинский. Не скрыл от него,

что привез тело убитого моего солдата. Наконец, добавил, что отдаю себя и свой отряд в полное распоряжение Императрицы.

Генерал Ресин выслушал меня, не перебивая, затем сел в кресло у своего письменного стола, а мне предложил занять таковое же в нескольких шагах от себя. В это время вошел лакей и на большом серебряном подносе принес утренний кофе со сдобными булочками.

Окна кабинета выходили как раз на площадку перед дворцом, где я оставил свой отряд, и мне было видно, как мои солдаты ударяли каблуком о каблук, чтобы согреться от долгого пребывания на холоде. Ни кофе, ни булочки не прельщали меня и я только ждал, что мне скажет генерал Ресин.

Хотя уже прошло более тридцати семи лет со дня моего разговора с генералом Ресиным, но его слова как живые сохранились в моей памяти, я их до самой своей смерти буду помнить и снесу их к Престолу Всевышнего.

Генерал Ресин сказал мне следующее: Сейчас я говорил по прямому проводу со своей женой, находящейся в Петрограде. Она мне передала, что беспорядки в Петрограде подавлены, что там все спокойно и что вся власть находится в руках военного начальства. Ваша охрана не нужна Государыне, продолжал генерал, здесь есть свои части, которые охранят Ее в случае надобности. Вы отведете ваш отряд в распоряжение Собственного Его Величества Сводного полка для отдыха, а сами можете отдохнуть в офицерском собрании или у вашего однополчанина капитана Апухтина.

Слова генерала Ресина, как гром, поразили меня. Я не стал верить генерала Ресина в ошибочности его сведений и как шалый оставил дворец, чтобы отвести свой отряд в указанное генералом место.

Передав в пути отряд кап. В. Белякову и приказав ему отвести его в столовые Сводные полка, сам в сопровождении кап. С. Апухтина пошел в офицерское собрание...



## Николай Семенович Лесков

Н. С. Лесков родился и провел детство в семье бывшего семинариста, сменившего священническую рясу на мундир чиновника. И хотя отец его порвал с духовной средой, профессия, к которой он готовился, сыграла свою роль в формировании характера, мышления и интересов сына. В круге чтения юного Лескова не последнее место занимали религиозные книги, а подвиги святых, услышанные от старших или вычитанные из житий, рано поразили воображение мальчика и дали толчок к дальнейшему изучению агиографии. Лесков был самым начитанным в житийной литературе русским писателем.

В годы наибольшей творческой зрелости Лесков написал ряд произведений, герои которых несли на себе бесспорное влияние русской религиозно-учительной литературы. Очень четко характеризовал этот период М. Горький, один из знатоков и ценителей таланта Лескова:

„После злого романа „На ножах” Лесков начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников”\*.

---

Глава из исследования, рассматривающего влияние житийной литературы на творчество русских писателей. См. также „Грани” № 120. — Р е д.

\* М. Г о р ь к и й, Собрание сочинений в 30 томах, том 24, Москва, Гослитиздат, 1953, с. 231.

Не надо понимать эти слова так, что в 70-х и 80-х годах Лесков заполнил свои произведения монахами, аскетами, блаженными. Совсем нет: герои „Соборян”, „Очарованного странника”, „Запечатленного ангела”, „Однодума”, „Кадетского монастыря”, „Несмертельного Голована”, „Печерских антиков”, „Пугала”, „Инженеров-бессребреников”, „Фигуры”, „Путимеца” и др. не изнуряют себя строгими постами, не простаивают часами на заутренях и вечернях, они мнутя духом, путают, совершают дурные поступки, нередко сознавая это сами, и тем не менее они — подлинные праведники.

Об одном из таких героев (своего рассказа „Несмертельный Голован”) сам Лесков писал: „В горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они ничем не выделяются из массы; но наскочит на людей „пупырушек”\*, и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, „несмертельным”\*\*.

Главная отличительная черта этих героев Лескова — их народность, то есть знание интересов народа и жизнь этими интересами, ибо герои эти сами есть народ — плоть от плоти, кость от кости. Народ в самом широком понимании этого слова, поскольку праведники Лескова — выходцы из самых различных народных слоев.

Вторая главная отличительная черта этих людей — их правдоискательство. Они любят и ищут правду,

---

\* Речь идет о народном названии эпидемии.

\*\* Н. Л е с к о в, Собрание сочинений в 11 томах, Москва, Гослитиздат, 1956—1958, том VI, с. 364. В дальнейшем все ссылки на тексты Н. С. Лескова даются по этому изданию.

когда же ее находят, то находят и силы в себе, чтобы бросить ради этой правды, все, что связывало их с прошлой жизнью. Между прочим, именно эта черта казалась Лескову особенно привлекательной в характерах русских святых.

„Какие удивительные повороты жизни! — восклицает он устами одного из своих героев, восхищающихся русскими житиями. — Сегодня стяжатель и грешник — завтра все всем раздал с лихвою и всем слуга сделался; сегодня блудник и сластолюбец, завтра — постник и праведник. Я люблю кто способен на такие святые порывы!.. Христос их любил — людей грешных, да способных быстро восходить вверх, как тесто в опаре\*.

В возможности людей победить в себе пороки, дурные наклонности и привычки Лесков видел подтверждение реальности своих надежд на возможность нравственного совершенствования человечества. Именно стремление каждого человека к добродетельной жизни, а не массовые революционные выступления Лесков считал основой социального прогресса. Он решительно и многократно осуждал революционное движение своей эпохи, заявляя, что насилие порождает еще большее насилие.

Веря, что счастье на земле может быть достигнуто лишь путем совершенствования людей, Лесков был далек от того, чтобы торопить кого бы то ни было вступить на путь такого совершенствования, „самовоспитания”. По Лескову, никто не имеет права навязать человеку извне никакой линии поведения, в том числе самовоспитания, человек должен сам почувствовать внутреннюю потребность стать лучше и осуществлять собственное усовершенствование в меру этой потребности.

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 49.

В основу нравственного самоусовершенствования герои Лескова кладут евангельскую заповедь „возлюби ближнего своего, как самого себя”, и это сближает Лескова не только с Достоевским и Толстым, но и с традиционной религией.

„Без веры жить нельзя”\*, — был убежден Лесков, сам глубоко верующий христианин и истовый борец против любых ограничений религиозной свободы как самого важного проявления духовной жизни человека — от кого бы эти ограничения ни шли, от атеистующих революционеров или от официальных церковников. Идеи христианства, история их развития и характер их исповедания современниками писателя нашли многообразное выражение в произведениях Лескова.

Еще до революции критик С. Дурилин писал: „У него создана целая повесть русской веры. У него все верят, но верят так же многолико, своеобразно, сведумно, своеобразно, как верил сам Лесков...

Лесков едва ли не ближе всех подошел к тайне русского православия — когда оно дает тихое осенение земли верою. Он творчески раскрыл многое в нем, создав художественную легенду православия. Древние христиане, подвижники прологов и патериков, русские святые, архиереи, миссионеры, старобрядцы, священники, нищие, странники, юродивые, православный народ — все вошли в эту легенду.

Лесков умел строить повесть, где главным действующим лицом является икона, мог подметить многие оттенки в восприятии Христа у детей, дикарей, атеистов, грешников. У него есть родство с Ключевским: он так же православен в искусстве,

---

\*Н. Л е с к о в, том XI, с. 456.

как Ключевский в истории. Сердцевина русской истории для Ключевского и русского бытия для Лескова одна и та же: Христос\*\*.

Именно: русского бытия, а не философского осмысления русской религии, ибо для Лескова „христианство есть учение жизненное, а не отвлеченное\*\*\*. Ведь „христианство возникло среди простого народа ранее, чем оно стало господствующим культом с присущими ему формами, и как раз своим внутренним содержанием оно всего более влиятельно\*\*\*\*. Для христианина, по мнению Лескова, совсем не обязательно втискивать свою жизнь в искусственные ограничения этих форм (что „есть византизм, а не христианство\*\*\*), но все его поступки должны быть „деятельной любовью к людям\*\*\*.

Не надо думать, что в формулировке „деятельная любовь к людям” было для Лескова нечто отвлеченное и неопределенное — для него эти слова выражали четкую программу практических действий, и он безошибочно отделял то, что входит в понятие „деятельной любви к людям”, от того, что является только внешним жестом.

Внимательно следя, например, за духовными исканиями Льва Толстого и одобряя многие из них, он безоговорочно согласился с Достоевским, когда тот заявил: „Не раздача именина обязательна и не надевание зипуна: все это лишь буква и формаль-

---

\* Журнал „Христианская мысль”, № 3, 1916.

\*\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 287.

\*\*\* Слова Лескова, цитированные его приятелем А. Ф а - р е с о в ы м в его книге „Против течений”, СПб, 1904, с. 49.

ность; обязательны и важны лишь *решимость* делать все ради деятельной любви”\*.

Сам Лесков дает нам огромное количество примеров этой деятельной любви к людям в своих произведениях, последнего двадцатилетия главным образом. Герои этих произведений „демонстрируют на практике самые высокие идеалы нравственности, нимало не вдаваясь даже в обдумывание своих поступков. Они действуют стихийно, повинувшись естественным движениям своей цельной натуры”\*\*.

Среди этих героев не последнее место занимают герои повестей и легенд, в основу которых положены агиографические сюжеты, взятые Лесковым из „Пролога”.

Определить отношение Лескова к „Прологу” одним словом невозможно — и потому, что он всегда подчеркивал неравноценность материалов, составляющих этот сборник, и потому, что он оценивал „Пролог” не только с точки зрения его исторической ценности, но и с точки зрения рядового читателя конца XIX века.

Такой читатель, по мнению Лескова, подходит к проложным повестям с теми же требованиями, которые он предъявляет к произведениям современности, а между тем любое произведение средневековья имеет такие особенности, из-за которых его полноценное восприятие возможно лишь „с поправками на время создания и активного бытования”. При знакомстве с „Прологом” без таких „поправок” он покажется скудным сведением, однооб-

---

\* Ф. Д о с т о е в с к и й, Полное собрание художественных произведений, Москва-Ленинград, ГИЗ, 1928, том XII, с. 63.

\*\* И. В и д у э ц к а я, Достоевский и Лесков,— журнал „Русская литература”, 1975, № 4.

разным по форме да к тому же избыточным множеством несообразностей. В этом море материала, не могущего быть положительно воспринятым читателями XIX века, духовные богатства „Пролога” тонут безвозвратно.

„Пролог — хлам, но в этом хламе есть картины, каких не выдумаешь, — писал Лесков А. С. Суворину в самом начале работы над проложными чтениями. — Я их покажу *все*, и другому в „Прологе” ничего искать не останется”\*

Задумав публикацию проложных повестей, писатель решил подвергнуть их такой переработке, которая позволила бы современным читателям в максимальной мере приобщиться ко всему тому, что, по мнению Лескова, было драгоценным достоинством средневековых текстов — многообразное отражение духовной красоты народа, свежести восприятия древнерусскими авторами окружающего мира, яркости и необычности художественных средств.

Немалую роль в планах Лескова играло и его желание раскрыть русским людям источник их древней иконописи, на „лепоту” которой совсем недавно обратила внимание отечественная интеллигенция; источник же этот он (вероятно, первым) увидел в агиографии.

„Апокрифы все „грубы”, или, лучше сказать, девственны, — писал Лесков, — но без них не понять, откуда взялись „сужекты лиц” и „пэозажи природы” в нашей древней иконописи, ибо все эти „сужекты” и „пэозажи” сделаны по апокрифам”\*\*.

Увлечшись поисками параллелей между сюжетами иконописных и словесных произведений Древ-

---

\* Н. Лесков, том XI, с. 362.

\*\* Н. Лесков, том XI, с. 406.

ней Руси, Лесков даже написал „апокрифическое сказание” „Сошествие во ад”, в котором доказывал, что иконописец, создавший так называемый „строгановский подлинник” иконы „Воскресение с сошествием”, руководствовался в своей работе не собственной фантазией и не каноническими книгами, а апокрифическим сказанием, написанным, по утверждению Лескова, со слов „очевидцев, которые самолично были в аду в ту ночь, когда туда приходил воскресший Христос. Верить этому ни для кого необязательно, — добавляет писатель, — но все-таки это живет в народе и сохраняется в иконописи, и потому это интересно”\*.

Напомню, что в духовной литературе апокрифом называется произведение с библейским, евангельским и вообще религиозным сюжетом, в котором есть нечто, не вполне совпадающее с учением официальной Церкви. Апокрифы не признавались Церковью священными и запрещались, однако в „Патериках” мы находим немало религиозно-моралистических сказаний, в большей или меньшей мере апокрифичных. Из „Патериков” эти произведения переписывались в „Прологи” и так становились популярным чтением грамотных людей средневековья.

„Пролог”, — писал Лесков А. С. Суворину 25 декабря 1889 г., — не священная и даже не церковная книга, а „отреченная”, так сказать „отставная”. При том там не всё говорится о подвижниках, а часто подвижники говорят о „прилогах”, то есть о случаях им известных, по-нашему — рассказывают друг другу анекдоты... А разве это все свято и составляет „табу”? И разве я передаю

---

\* Н. Л е с к о в, Полное собрание сочинений, 1903, СПб, изд. Маркса, т. XXI, с. 148.



„Пролог”? Вы правильно сказали: мы берем одни 'темы' ”\*.

Обращаясь за „темами”, за „сюжетами” к проложным чтениям, Лесков никогда не делал различия между текстами церковно-каноническими и текстами апокрифическими: писателю было важно, чтобы произведение зажгло в нем творческую искру и чтобы оно было, с его точки зрения, полезным для читателей — прочее Лескова не интересовало.

Всего на основе „Пролога” Лесковым были написаны следующие произведения: „Повесть о богоугодном древоколе” (по проложному чтению на 8 сентября), „Сказание о Федоре-христианине и друге его Абраме-жидовине” (по проложному чтению на 31 октября), „Скоморох Памфалон” (по проложному чтению на 3 декабря), „Легенда о совежном Даниле” (по проложному чтению на 7 июня), „Лев старца Герасима” (по проложному чтению на 4 марта), „Прекрасная Аза” (по проложным чтениям на 8 апреля и 14 марта), „Гора” (по проложному чтению на 7 октября), „Аскалонский злодей” (по проложному чтению на 14 июня), „Невинный Пруденций” (по проложному чтению на 14 августа).

В этом перечне я расположил легенды в порядке их написания, хотя, возможно, где-то и допустил ошибку: когда речь идет о хронологии лесковских произведений, очень часто ничего нельзя утверждать с полной определенностью; даже автор весьма тщательно составленной „Хронологической канвы жизни и деятельности Н. С. Лескова” К. П. Богаевская принимает за вехи не даты написания произведений, а даты первых публикаций — как единственно достоверные.

Это и в самом деле максимально приемлемое условие, хотя и оно не всегда удовлетворительно,

\* Н. Лесков, т. XI, с. 451.

поскольку у Лескова есть произведения, опубликованные намного позднее тех, что были написаны после них. Я, например, уверен, что работа Лескова над легендой „Скоморох Памфалон” началась раньше, чем над „Сказанием о Федоре-христианине...”, хотя легенда была опубликована (март 1887 г. — „Исторический вестник”) позже, чем сказание (декабрь 1886 г. — „Русская мысль”)...

Статья „Лучший богомолец” была написана Лесковым с целью защитить ею народные рассказы Толстого, в частности рассказ „Три старца”, от нападок прессы. В связи с этим уместно остановиться на некоторых теоретических положениях статьи Лескова, а также на тексте „Повести о богоугодном древоколе” и на сравнении этого текста с текстом положенного в ее основу жития.

Оговорюсь только, что „Повесть о богоугодном древоколе” кардинально отличается от всех прочих агиографических переработок Лескова — она коротка, скупа на подробности локального и темпорального характера, написана очень простым, совсем не цветистым языком.

Это не значит, однако, что Лесков воспроизводил особенности первоисточника. Отнюдь нет, он не только не заботился о сохранении этих особенностей, он не заботился даже о целостности самих жанровых отличий жития — Лесков *писал повесть на сюжет жития*, и, если какие-то из жанровых признаков жития вступали в противоречие с жанровыми признаками повести, он беспощадно их уничтожал.

Таким образом, сразу следует оговориться, что текст „Повести о богоугодном древоколе” Лескова весьма далек от текста агиографического первоисточника, проложного „Слова от Лимониса о Мурине-дровосече”. Настолько далек, что их последовательное текстуальное сравнение с целью выяс-

нения совпадений или замен отдельных слов просто не имеет смысла. Поэтому в дальнейшем я буду сравнивать эти тексты лишь в той мере, в какой это нужно для выяснения приемов и направления работы Лескова над агиографическим сюжетом.

Как мы уже знаем, проложные жития посвящены обычно жизни, жизненному отрезку или какому-нибудь очень важному событию в жизни праведника. Сколько бы персонажей, кроме этого праведника, в житии ни действовало, они составляют всегда лишь бесцветный фон; чаще всего они в житии только поименованы.

Знаем мы также о том, что агиографы не перегружали свои произведения психологическими деталями, а ограничивались лишь лаконичной информацией о самом событии.

Не заботились агиографы и о том, чтобы поддерживать читательский интерес к своим творениям хитроумным расположением событий: в средние века рукописи читались лишь теми, кому было интересно их содержание само по себе, без всяких сюжетных ухищрений.

Все сказанное полностью относится и к нашему „Слову о Мурина-дровосече”. Подтвержу это несколькими эпизодами из текста. Вот, например, беседа Мурина с епископом. Тот просит Мурина рассказать о его „праведной, богоугодной жизни”, Мурин же рассказывает о своем житье-бытье бедного дровосека, живущего продажей нарубленных за день в лесу дров. Рассказывает простыми, скупыми, чисто информационными фразами, последовательно излагая события и совершенно не заботясь, будет ли его рассказ занимателен. Кстати сказать, о епископе, спросившем Мурина, агиограф не говорит ничего.

Прочитав эту сцену в „Слово о Мурина”, мы можем с уверенностью констатировать, что она написа-

на в полном соответствии требованиям житийного жанра. Лесков, однако, писал не древнее житие, а современную повесть. Современная же повесть не может обойтись без намеренного подогрева читательского интереса, без психологических деталей и с одним-единственным характером. Жанровые признаки повести XIX в. включают особенности прямо противоположные особенностям жития. Какая же это повесть, если она не населена несколькими людьми, совершающими интересные для читателя поступки, вызванные психологией его героев?

Таким образом, жанровые признаки произведения, которое писал Лесков (современная повесть), входили в противоречие с жанровыми признаками произведения, которое было для него источником работы (средневековое житие). Оказавшись перед этим противоречием, Лесков, не колеблясь, разрешил его в пользу повести, насытив свое произведение психологическими подробностями, заострив интригу, окружив главного героя другими индивидуализированными персонажами и т. п.

В частности он создал характер епископа, о котором пишет при первом же его появлении перед читателями повести: „Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ, человек очень добрый, участливый и сердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился”.

А вот как меняет Лесков текст первоисточника с целью повысить интерес читателей.

*Текст проложного „Слова”:*

„И се вхождаше старец, неся беремя дров на продажу”.

*Текст Лескова:*

„Теперь уже видно, что это самый простой пеший человек и притом старый, изможденный простолу-

дин, весь согнутый и едва передвигающий ноги под большим оберемком сухого хвороста”.

А вот начало повествования, где агиограф ограничивается простой информацией, а Лесков расцвечивает ее художественными подробностями и вводит оценочный элемент.

*Текст проложного „Слова”:*

„Бысть некогда в Кипрстей стране бездожие много...”

*Текст Лескова:*

„В очень отдаленные времена в Кипрских окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. Все молились и просили дождя. Но дождя не было”.

Разница, как видим, немалая. Но и это — не все. Далее Лесков повествует, как народ пришел в ужас, близкий к отчаянию, как раздался „глас с неба”, как епископ в сопровождении всех жителей пошел к городским воротам встречать Божия избранника, как нетерпеливо было ожидание, как явился старец, как пошел дождь, как из-за этого все повеселели... и о многом другом, о чем в проложном чтении нет ни слова.

Что касается вопроса о психологизации текста, то Лесков так насыщает свою повесть психологическими деталями, так стремится к модернизации, что не всегда соблюдает меру, а иной раз даже терпит и подлинную неудачу. Например, в уже упоминавшейся сцене встречи епископа с дровоколом ответ старика на вопрос епископа (чем тот угоден Богу) в „Прологе” короток, лаконичен, и это более характерно для простого, не мудрствующего человека, чем пространный ответ у Лескова.

*Текст проложного „Слова“:*

„Прости мя, господине, аз убо грешен есмь, и на суетные дни родихся, и ничтоже имейя спокойна, им же бы моя душа утешилася“.

*Текст Лескова:*

„Поверь мне господин, что я бы вам все с охотою рассказал, да в том дело, что мне, право, рассказать-то вам совсем нечего. Я самый обыкновенный грешник и провожу мою жизнь в ежедневной житейской суете и в хлопотах. Мне выпала такая доля, что даже и раздумать о богоугодных делах мне некогда, потому что я себе до старости ничего во всю жизнь не припас и теперь, уже слабый и немощный, не имею ни отдыха, ни покоя...“

Множественно нарушая в своей переработке жанровые законы агиографического произведения, Лесков, однако, когда дело доходит до выводов из его повествования, обращается к авторитету жития, цитируя его точно и даже со ссылкой на источник.

„От того простого рассказа, — „Пролог“ говорит, — пользу принял немало епископ с клиросом его. Тако и все прославиша Бога о труде старче и рекоша ему: воистину ты еси совершил Писание, глаголющее: яко рече пришлец есмь аз на земле“.

Делая эту назидательную концовку проложного „Слова от Лимониса“ окончанием своей „Повести о богоугодном древоколе“, Лесков имел целью освятить собственное произведение авторитетом агиографа, нисколько не смущаясь тем, что оно весьма существенно отличалось от агиографического. Это можно объяснить только уверенностью писателя, что все его многочисленные и существенные изменения проложного текста оставили в неприкосновенности самое главное в нем. Самым же главным (и, по-видимому, единственно важным для читателя XIX века) Лесков считал *идею* „Слова о Му-

рине-дровосечце". Взявшись за переработку „Слова", Лесков видел свою задачу в повторении этой старой идеи на новой основе и был убежден, что из всех компонентов проложного чтения войти в его собственную повесть без изменений достойна только эта идея.

Любопытна в плане сказанного одна деталь в лесковском „Послесловии" к статье „Лучший богомолец". Я имею в виду то место, где, окончив пересказ „Слова о Мурине-дровосечце" (то есть — сказать точнее — окончив собственную „Повесть о богоугодном древоколе") и давая ему характеристику, Лесков пишет таким образом, что невозможно понять, какой именно текст он имеет в виду, проложный или собственный:

„На мой вкус, он очень благочестив, грациозен, прост и удобен для передачи его в беллетристической форме. Притом он отвечает вкусам простонародного читателя и поучает его трудолюбию, терпению и безропотности — все, что для бедного труженика нужно и полезно"\*.

Отметим, что приведенная цитата интересна также и тем, что подводит итог первой части статьи, где доказывается „благочестивость" и „народность" проложного текста. Утвердив здесь эти качества за „Словом", Лесков делает неожиданный переход к характеристике „рассказов для народного чтения" Л. Н. Толстого и утверждает, что они так же „благочестивы" и „народны", как сами проложные повести, послужившие материалом для работы великого писателя.

„Читатель, который знаком с духом народных рассказов Л. Н. Толстого, без сомнения заметит еще и то, что рассказ этот имеет самое сильное сродство

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 108.

с простонародными повествованиями Л. Толстого”\*

Такое „заступничество” было вызвано желанием Лескова, знатока и ценителя религиозно-учительной литературы, растолковать критике, а также сбиваемым ею с толку читателям и чиновникам Министерства просвещения, что в „народных рассказах” Толстого нет никакого неуважения к религии, а тем более никакого религиозного бунтарства, а что, напротив, эти рассказы отвечают духу и букве русской агиографии.

Как видим, причины, побудившие Лескова впервые обратиться к пересказу агиографического произведения, имели, так сказать, просветительный и заступнический характер. Теми же чувствами было вызвано и следующее обращение Лескова к агиографии — переработка „Жития святого Феодула” (у Лескова повесть называется „Скоморох Памфалон”).

Однако Лесков защищал на этот раз *не писателя*, толкующего жития, а сами *жития*, точнее — *славяно-русские жития*, их тематическое разнообразие, духовное богатство их героев и красоту их художественной формы.

Лесков и теперь (в предисловии к своей повести) пишет о толстовских обработках агиографических произведений, однако на этот раз не столь апологетически, как прежде. Теперь мы можем утверждать, что, хотя многое во взглядах Лескова и Толстого на переработку проложных чтений одинаково, все же между писателями есть и расхождения, к тому же в весьма существенных вопросах.

Это подтверждается, кстати сказать, и характером высказываний Толстого о лесковских перера-

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 108.



ботках житий — Толстой отзывался о них скупой и не всегда четко: одна и та же легенда в его высказываниях, то „прекрасна”, то „нехороша”, то „превосходна”, то раздражает его „искусственностью языка”. В то же время другие произведения Лескова Толстой оценивал очень четко и всегда одинаково — сколько бы раз он к ним ни возвращался („Христос в гостях у мужика”, „Под Рождество обидели”, „Час воли Божией”, „Кольванский муж”, „Загон”, „Коза” и др.

По-видимому, Толстой ценил лишь произведения Лескова, с очевидностью подтверждавшие его мнение о Лескове как о писателе, который, как он однажды выразился, „любит простой народ”. В агиографии же эти два писателя искали совсем различное и обращались к ней с совсем разными целями.

Подтверждение сказанного мы можем найти, в частности, в уже упоминавшемся авторском предисловии к легенде „Боголюбезный скоморох”, как первоначально Лесков назвал своего „Скомороха Памфалона”\*

Это предисловие Лесков начинает с напоминания о недавно опубликованном в журнале „Дело” переводе „Флорентинской легенды”, которая, по его словам, „многим понравилась за благородство сюжета”. Он считает, что „из сравнения „Флорентинской легенды”, пересказанной Лей-Гентом, с сюжетами легенд византийского происхождения\*\*

---

\* Предисловие при жизни Лескова не печаталось. Извлекаю его из комментария к изданию легенды в „Собрании сочинений” Лескова 1958 г.

\*\* Вместо привычных терминов „русские жития”, „патериковые сюжеты”, „проложные чтения” и т. д. Лесков почти всегда пишет: „легенды византийского происхождения” или „византийские легенды”, чем хочет подчеркнуть генеалогию нашей агиографии.

сказываемых Толстым, у читателей сложился такой вывод, что сами сюжеты западных легенд гораздо разнообразнее, живее и нежнее сюжетов легенд византийских, которые однообразны, грубы и мужиковаты.

Мне, — заявляет Лесков, — это кажется не совсем верным — по крайней мере в отношении *разнообразия*. Чтобы делать сравнительные выводы, надо иметь надлежащий материал для сравнения, но граф Л. Толстой нисколько этим не озабочен. У него есть свои цели, которым и отвечает его выбор. А в легендах византийских есть и иного вида сюжеты. Теперь, пока этот литературный жанр в моде и пока он еще не надоел публике, надо этим пользоваться и показать, что он интересен не с одной только той стороны, которая эксплуатируется графом Львом Николаевичем Толстым”\*

Лесков не уточняет своих слов о целях и принципах толстовского отбора житийного материала, однако и из сказанного совершенно ясно, что эти цели и принципы неадекватны его собственным. В этом еще более убеждает дальнейший текст предисловия, из которого видно, что обращение самого Лескова к агиографии имело полемический и патриотический характер — что не только не отвечало толстовским взглядам, но и противоречило им.

Дальнейший текст предисловия Лескова к его „Боголюбезному скомороху” посвящен доказательству „преимуществ восточных легенд перед западными”. Беспощадным и остроумным комментарием Лесков совершенно уничтожает „Флорентинскую легенду”. Чтобы лучше оценить комментарий (что, в свою очередь, поможет уяснить принципы, из которых исходил Лесков при переработке агио-

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, сс. 581—582.

графических произведений), ознакомимся с сюжетом „Флорентинской легенды”.

Это — история любви двух молодых людей, Джиневры и Антонио. Джиневра — замужем за суровым и ревнивым стариком, которого она не любит, но верна ему в такой степени, что даже отказывается принять письма Антонио, хотя они на редкость почтительны: Антонио в такой степени благороден, что ничего не требует от Джиневры, кроме того, чтобы она берегла свое здоровье.

Здоровье Джиневры расстроено жестокостями ее мужа, и Антонио сначала подсылает к этому человеку своих друзей, а затем и сам является, чтобы просить обратить на здоровье Джиневры большее внимание. Муж приходит в раздражение, а Джиневра между тем умирает.

Джиневру хоронят в фамильном склепе, но она там оживает и в соответствии со своей неистребимой верностью мужу идет ночью к этому мучителю, а поскольку, перепугавшись, тот дверей не открывает, отправляется к своим родителям. Но и те не впускают ее в дом, и она приходит в отчаяние: по городу шатаются пьяные гуляки, а она одета в погребальное платье и еле передвигает ноги от слабости.

Женщина вспоминает об Антонио, идет к нему и вверяет себя его защите. Антонио принимает ее, и она остается у него, чтобы окрепнуть, а затем идти в монастырь. Антонио ухаживает за больной, но муж, узнав о происшествии, требует Джиневру к себе. Благородный Антонио, разумеется, содействует ее возвращению к мужу. Муж с первых же минут встречи с Джиневрой начинает ее оскорблять, что выводит из себя оказавшегося здесь одного из друзей Антонио, и тот убивает изверга, а Джиневру, впадшую в обморок, приводит в чувство.

„Этот сюжет, — считает Лесков, — не представляется ни особенно благородным, ни возвышенным. Охранить женщину, которая вверила человеку свою женскую добродетель, без сомнения есть дело благородное, но это есть, так сказать, своего рода нормальная линия благородства. Малейшее понижение от нее будет уже неблагородство, оскорбляющее самое примитивное понятие о честности. При таком доверии, которое обнаружила Джиневра, и вдобавок еще при ее страдальческом бессилии, даже и человек невысокого благородства едва ли бы решился посягнуть на ее целомудрие. Если бы Антонио поступил иначе, он был бы негодяй”\*

Старый жанр „легендарных повествований имеет в этом роде сказания несравненно более реальные, простые и сильные”, утверждает Лесков и называет в качестве примера одно из проложных житий, которое, по его мнению, „гораздо более интересно и еще более нежно, просто и благородно”. В заключение Лесков предлагает читателям убедиться в справедливости его слов, прочитав русский „пересказ” этого жития, которому он дает заглавие „Боголюбивый скоморох”.

Сравнив „Боголюбивого скомороха” с „Флорентинской легендой”, мы должны констатировать, что Лесков сделал все, чтобы доказать превосходство восточной легенды перед западной. В отличие от западного героя, Антонио, который находится на „нормальной линии благородства”, герои восточные, скоморох Памфалон и художник Магистриан, доходят до „высшей степени благородства”: ведь, спасая женщину от позора, они жертвуют последним своим достоянием, терпят оскорбления и унижения и даже продают себя в рабство... Столь же

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 582.

высока и мера поведения героини, Магны: прошедшая через всевозможные страдания жизни, обаятельная в своей подлинной, живой добродетельности, готовая ради детей поступиться даже женской честью, она — не чета пассивной, холодной, „невероподобной” (словцо Лескова) Джиневре.

Впрочем, как ни прав на первый взгляд Лесков, мы не можем не заметить, что в своем стремлении убедить читателя во что бы то ни стало, он допускает, в сущности, недозволенный прием, ибо сравнивает с западным житием не само восточное „Житие святого Феодула”, а кардинальную переработку этого жития, повесть „Скоморох Памфалон”. Переработка эта столь кардинальна, что ее по справедливости следует считать собственным произведением Лескова.

Степень различия жития и его переработки можно понять даже из слов самого Лескова: по его мнению, события в житии „изложены сухим и скучным образом”, а про переработку жития он говорит, что это — „пересказ, сделанный *по возможности простым русским языком, в том виде, в каком легенда представляется при вникновении в ее сущность*”\*. Конечно, это отнюдь не то же самое.

Какой огромной была работа Лескова над житием, мы можем себе представить по его письму редактору журнала „Исторический вестник” (в № 3 которого за 1887 г. был опубликован „Скоморох Памфалон”) С. Н. Шубинскому от 19 сентября 1887 г. В этом письме Лесков утверждает, что повесть стоила ему „особого труда по подделке языка и по изучению быта того мира, которого мы не видали и о котором иосифовский „Пролог” в житии св. Феодула давал только слабый и самый ко-

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 582.

*роткий намек. Я над ним много, много работал. Этот язык дается не легко, а очень трудно, и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозаичную работу*\*\*.

Лесков отлично понимал, что его повесть отнюдь не простой „пересказ”, а коренная переработка жития. Это понимание было одной из причин, по которым он старался не допустить возможности сравнения своего произведения с первоисточником. Он нигде не называет, откуда почерпнут сюжет повести и даже меняет имена действующих лиц (Корнилий стал Памфалоном, Феодул — Ермием и т. д.). Еще 20 мая 1886 г., по окончании первого варианта своей переработки, Лесков писал С. Н. Шубинскому:

„Повесть из Прологов кончил, и ею доволен. Источника фабулы не указываю. Повесть вышла в роде Толстого (Льва), но более в роде Флобера „Искушение св. Антония”... Откуда взято — не узнают, пока сами не укажем”\*\*.

Стремление Лескова скрыть первоисточник повести можно объяснить также цензурными соображениями. Публикация произведений, в которых Лесков рассказывал о темных сторонах жизни духовенства, укрепила за ним репутацию писателя не только антицерковного, что было не совсем верно, однако все же близко к истине, но и антирелигиозного, что было уж совсем неверно.

Если к этому прибавить личную ни от кого не скрываемую неприязнь к Лескову самого обер-прокурора Священного Синода К. П. Победоносцева, то можно себе представить, как придирчиво рассматривали цензоры каждое лесковское произведение,

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 348.

\*\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 584.

связанное с религией. И повесть, в основу которой было положено житие святого, конечно, должна была вызвать сугубую настороженность цензуры именно как произведение религиозное и церковное.

Между тем Лесков не только не стремился к созданию религиозного и церковного произведения, каким был первоисточник „Скомороха”, но нарочито избегал отбирать из него специфически духовный материал, используя только фабулу жития, трактующую нравственные вопросы. Религия играла в повести Лескова роль лишь в той мере, в какой она помогала решать эти нравственные вопросы.

Именно поэтому Лесков, создав, в сущности, апокриф, не кривил душой, когда упорно утверждал, что его „повесть о скоморохе Памфалоне вполне цензурна”. В свойственной ему внешне иронической манере выражения писатель заявлял, что в повести „нет ничего религиозного — до того, что даже не упоминается ни про евангелие, ни про церковь, ни про попа, ни про дьякона, ни про звонаря. Словом нет ничего, относящегося к церкви, а только сюжет заимствован. Живет скоморох, хочет исправиться, но не может, потому что все увлекается состраданием к несчастным, а в конце ему говорят, что ему уже и исправляться не в чем”\*

Из-за того, что Лесков считал свою повесть вполне самостоятельным, „своим собственным” произведением, лишь минимально связанным с первоисточником, он так легко шел на самые значительные изменения этого первоисточника — вплоть до переосмысления его идей и ломки его сюжета.

Одно такое изменение было сделано даже во времена вычитки гранок: до этого в конце повести Ермий возвратился через пустыни и дебри к своему

---

\* Н. Л е с к о в, том II, с. 316.

столпу, где и продолжал стоять до самой смерти, советуя всем „избирать лучшее”. В гранках Лесков решительно переделал это место, приведя Ермия к духовному возрождению, к отказу от гордых мыслей о своей исключительности и к уходу со столпа с целью посвятить себя служению людям.

Также именно потому, что Лесков считал свою повесть собственным, самостоятельным произведением, он с явной гордостью пересказывал друзьям рецензии, где положительно оценивались те места его повести, которых не было в житии и которые являлись личным творчеством Лескова:

„Журнал „Русская мысль”, — пишет, например, он С. Н. Шубинскому, — воздает похвалы Памфалону, ценя особенно язык — „своеобразный и напоминающий старинные сказания”, а также „ясность, простоту и неотразимость”\*

По той же причине Лесков яростно спорит с А. С. Сувориным, которому не понравилась языковая стилизация „Скомороха”:

„Писано не нынешним живым языком. Не говорю о достоинстве языка, но собственно о строе речи. Он *подстаринен*, а другой язык был бы неуместен. „Зализанность”, то есть большая или излишняя тщательность в выделке есть, но ее, думается, можно снести, т. к. это нынче встречается очень редко”\*\*.

Ценил Лесков также и ритм своей повести: по его мнению, „можно скандировать и читать с каденцией целые страницы”\*\*\*.

Как видим, Лесков внес коррективы во все компоненты старого жития — в идейную направлен-

---

\* Н. Л е с к о в, том II, с. 348.

\*\* Н. Л е с к о в, том II, с. 442.

\*\*\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 585.



ность, в сюжет, в характеры героев, в бытовые реалии, в диалог, в сам строй языка... Как же после этого мог он не считать повесть „Скоморох Памфалон” своим собственным произведением!?

То же можно сказать и о любом другом агиографическом произведении Лескова, даже о таком, как „Лев старца Герасима”, хотя рассказ этот невелик и сюжет его пользовался популярностью довольно долго до того, как им воспользовался Лесков, — достаточно сказать, что его любили уже византийские читатели „Патериков”.

Сюжет рассказа так прост, что может быть пересказан в нескольких словах: пустынный вытаскивал острые щепы, вонзившиеся в лапу льва, и тот привязался к нему самой верной и нежной привязанностью, оберегал его от диких зверей, стерег его осла, а однажды пригнал к нему отбитый у разбойников караван верблюдов.

Казалось бы, что такой простой сюжет опытному писателю ничего не стоит переделать для современных ему читателей. Между тем, на создание такой переделки Лесков потратил много сил и времени. Вот что он писал об этом редактору журнала „Игрушечка” А. Н. Пешковой-Толиверовой:

„Я только два дня тому назад вычитал в древнем „Прологе” рассказ о ручном льве св. Герасима. Но рассказ по обыкновению житийных описаний скуден и требует домысла и обработки, а это опять потребует восстановления в уме и памяти обстановки пустынножительства в первые века христианства, когда процветал в Аравии св. Герасим. Написать историческую или житийную сцену с налета, как пишут про зайчика или про курочку, невозможно”\*.

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, сс. 361—362.

Когда Лесков пишет здесь о необходимости при создании рассказа на агиографическую тему домысла, обработки и изучения, он не только нисколько не преувеличивает сложность своей работы, но, пожалуй, еще и преуменьшает, поскольку житие-первоисточник обычно служило ему даже не основой, а лишь толчком: как правило, писатель заимствовал из него только главную идею и фабульную схему, а иной раз и одну главную идею.

Манера изображения событий, приемы оснащения этих событий историческими, бытовыми и проч. аксессуарами, авторское отношение к событиям в лесковских переделках чаще всего полностью отличаются от всего, что было характерным для агиографического первоисточника. Короткое замечание агиографа о некоем поступке героя обычно сопровождается у Лескова обширным психологическим обоснованием этого поступка, незначительный эпизод обрастает диалогами, многословными повествованиями героев, авторскими характеристиками и, главное, огромным числом подробностей, призванных воссоздать локальный и темпоральный колорит.

Подобный характер работы был не похож на воссоздание древнего житийного произведения средствами современного языка, к чему стремился Л. Н. Толстой в своих первых обработках агиографических сюжетов. Лесков шел прямо противоположным путем, „подстаринивая” язык и подновляя почти все другие компоненты произведения. Естественно, что, идя противоположным путем, можно было прийти только к прямо противоположному результату — к созданию современного художественного произведения, в той или иной мере связанного со средневековым первоисточником.

Это собственно и было задачей Лескова, который, при всех его стараниях подгримировать свои

легенды старинным гримом, больше всего волновался, чтобы они выглядели художественными с современной точки зрения.

Лескову приходилось волноваться об этом, потому что его метод сам по себе еще не предрешал удачи: связь нового произведения с житием-первоисточником была столь минимальной, что законы житийного жанра уже теряли для этого произведения всякое значение — значение имела лишь художественность в понимании современных читателей. Если оценивать лесковские легенды с этой точки зрения, то следует сказать, что одни из них оказались более удачными, а другие — менее.

Например, рассказ „Лев старца Герасима” или повесть „Гора” следует отнести к бесспорным лесковским удачам, а на противоположный конец шкалы поставить повесть „Аскалонский злодей”\*, неумеренно насыщенную историческими сведениями и бытовыми реалиями, затопившими короткий сюжет проложного повествования. Недаром, упоминая в предисловии к повести о ее первоисточнике, Лесков как бы между прочим замечает, что рассказываемое им „происшествие отмечено *отчасти* в писаниях Евсевия из Аскалона”.

Поистине „отчасти”, ибо несколько фраз церковного писателя об „аскалонском злодее” „Анастасе-душегубе” под пером Лескова превратились в 60 страниц убористого текста, являющегося по-существу повествованием о жизни сирийцев в годы правления императора Юстиниана и его жены Феодоры.

Правда, основная идея лесковской повести — та же, что и основная идея ее первоисточника: как бы преступен ни был человек с точки зрения других

---

\* Хотя самому Лескову она нравилась так же, как и „Гора”, — см.: Н. Л е с к о в, том XI, с. 447.

людей, он достоин снисхождения и сожаления — так же, как достоин осуждения человек, занимающий всеми уважаемый пост, но тайно пребывающий в постыдном грехе. Для доказательства этой идеи Лескову оказалось вполне достаточно использовать всего два эпизода об Анастасе, почерпнутые из проложного чтения — о передаче Анастасом пожертвованных ему хлебцев Тении и о его обличении Милия.

Однако, если содержание жития по-существу и исчерпывается этими эпизодами, то в лесковской повести прибавлен к ним целый новый сюжет — история семьи сирийского купца-корабельщика Фалалея, жившего в Аскалоне с женой Тенией, матерью Пуплией, сыном Виттом и дочерью Вириной. В этой истории рассказывается о том, как богател Фалалей, скупая сандал, камфару и мускатный орех, перевозя эти товары на своих десяти кораблях в Александрию и продавая их там с большой выгодой, как однажды его корабли попали в бурю и затонули, как Фалалей чудом спасся, как заимодавцы засадили его в темницу и как верной Тении удалось его освободить.

Особую роль в истории Фалалея играет рассказ о попытках знатного епарха Милия соблазнить Тению. Страницу за страницей мы читаем об усилении любовного томления Милия, о все более щедрых его обещаниях увеличить количество златниц для Тении, об участии в грязных делах Милия доимщика Тивурия, темничника Раввила, владельца доступных дев Сергия, старухи Пуплии и, наконец, самого Фалалея.

Это довольно однообразное повествование выглядит еще статичнее из-за растягивающих его до предела исторических и бытовых подробностей,

более подобающих историко-этнографической статье, чем художественной повести.

Что только ни узнает из „Аскалонского злодея” читатель! Географическое положение и краткую историю города Джоры (Аскалона) в древности и в первые века христианства. Отношения между разными категориями жителей Аскалона в период после провозглашения христианства официальной религией — между христианами и язычниками, правителями разных рангов и подчиненными им горожанами, богатыми и бедняками, заимодавцами и должниками, мужьями и женами, отцами и детьми и т. д., и т. д. Узнает читатель об устройстве городов в ту эпоху, о планировке (внешней и внутренней) и содержании городских усадеб, темниц для преступников, „пестрых шатров с арфистками и доступными девами”, о грабителях на больших дорогах, о морских пиратах, о лихих прибрежных жителях, заживавших на рифах огни, чтобы потом обирать разбившиеся корабли. Есть даже страницы, посвященные биографии и характеру византийской императрицы Феодоры и аскету-христианину, жившему в кладбищенской могиле, старцу Фермуфию.

Но Лесков не только добавил в сюжет проложного чтения множество отсутствующих сведений, он изменил и сам сюжет, сам характер и направление сюжетных коллизий, причем изменил их решительнейшим образом. Интересно, что, рассуждая в одном из писем (к А. С. Суворину) об окончании, которое он придал повествованию, и о возможных вариантах этого окончания, Лесков даже не упоминает об окончании самого первоисточника — ему и в голову не приходит повторить это окончание, хотя своим собственным он недоволен: „Аскалонский злодей окончен игрушечным образом. Я это знаю и знаю то, как надо было это разрешить в свя-

зи с житейской правдой. Но Ключевский очень одобряет мой домысел и находит, что это сделано в духе того времени”\*

При тех кардинальных изменениях, которым Лесков подверг первоисточник, создавая своего „Аскалонского злодея” (изменения такого характера и в таком количестве, кстати сказать, кроме Лескова, несвойственны ни одному из писателей, пользовавшихся агиографическим материалом), создается по существу совсем новое произведение, и текстологическое сравнение этого произведения с исходным проложным чтением абсолютно бесперспективно.

Впрочем, подобное сравнение бесперспективно и для любой другой лесковской переработки агиографического сюжета — чтобы убедиться в этом, совсем ни к чему пускаться в сложные филологические изыскания: достаточно лишь сравнить размер легенд Лескова, занимающих обычно несколько десятков страниц, с всегда коротенькими проложными чтениями, положенными в основу этих легенд.

Таким образом, нам придется удовлетвориться анализом лишь *тенденций работы* Лескова над агиографическими сюжетами, а также рассмотрением *причин, по которым писатель выбирал* для своих переделок из огромного сюжетного и идейного богатства „Пролога” именно данное произведение.

Как мы уже знаем, Лесковым было опубликовано девять обработок проложных чтений\*\*. По идейно-тематическому признаку я бы их разделил на три группы:

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 447.

\*\* Отбирая свои произведения для будущего собрания сочинений, Лесков писал 16 мая 1888 г. А. С. Суворину, что его обработки проложных чтений „составят отдельный том под заглавием „Пустынные картины (Древнее христианство в Сирии и Египте)” и что в этот том войдут семь расска- →

1) произведения, в центре которых находится человек морально совершенный („угодный Богу”), однако в глазах других людей мало или даже ничего не стоящий — „Повесть о богоугодном дровоколе”, „Скоморох Памфалон”, „Аскалонский злодей”;

2) произведения о дружбе и привязанности — „Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине”, „Лев старца Герасима”;

3) произведения о преимуществе христианской любви перед другими чувствами, в том числе перед любой другой любовью — „Легенда о совестном Даниле”, „Прекрасная Аза”, „Гора”, „Невинный Пруденций”.

Как видим, почти половина лесковских произведений с агиографической тематикой посвящена про-

---

зов, уже напечатанных, и восемь, готовых к печати” (Н. Л е с к о в, том XI, сс. 388—389).

Это намерение осуществлено не было, потому что публикация проложных переработок в виде особого тома была запрещена цензурой. В журналах же Лесков опубликовал лишь 9 легенд — сверх тех семи, о которых он писал А. С. Суворину („Повесть о богоугодном дровоколе”, „Сказание о Федоре-христианине и друге его Абраме-жидовине”, „Скоморох Памфалон”, „Легенда о совестном Даниле”, „Лев старца Герасима”, „Прекрасная Аза”, „Гора”), изданы были „Аскалонский злодей” и „Невинный Пруденций”. Прочие же шесть легенд при жизни Лескова света не увидели, и ничего определенного сказать о них не представляется возможным.

Некоторым исключением является „повесть об изнасилованной римлянке III века” „Оскорбленная Нэтэта”, о которой Лесков писал 7 декабря 1889 г. издателю „Русской мысли” В. М. Лаврову: „Из моего прологового запаса она всех лучше: сюжет живой, пестрый, страстный и нежный. Есть жрецы Изида, римляне, боги, муж и костер... Словом, целая опера или балет, но все это еще в голове” (Н. Л е с к о в, том XI, с. 462). Лесков написал лишь несколько отрывков „Нэтэты”, которые были опубликованы в 2-м выпуске „Невского альманаха” за 1917 г.

славлению христианской любви. Все эти произведения Лесков написал в конце периода своего увлечения переработкой проложных чтений и в конце жизни. Это обстоятельство дает возможность сделать по крайней мере два вывода, один идеологический, другой — касающийся художественной формы лесковских легенд.

Когда я говорю об идеологическом выводе, то имею в виду, что последние произведения Лескова с агиографической тематикой опровергают мнение, будто бы их автор относился к христианской религии с неуважением и чуть ли не был атеистом. До революции некоторые влиятельные церковные деятели распространяли это мнение как обвинение, после революции коммунисты постоянно подтверждали его, чтобы сделать Лескова „своим” — своим единомышленником и своим союзником.

Между тем Лесков был глубоко верующим христианином (чему существует и прямое доказательство в виде предсмертного завещания писателя), никогда не покушавшимся на основы христианства, а лишь критиковавшим то, что он считал извращениями подлинного учения Христа, порожденными человеческими суевериями, слабостями и непониманием.

Обращаясь же к форме последних проложных обработок Лескова, следует сказать, что именно в этих легендах писатель максимально приблизился к такой модели, какую он считал образцом для наилучшей популяризации агиографии.

Раньше других в этой группе произведений написана „Легенда о совестном Даниле” (опубликована в газете „Новое время” в 1888 г.) и, вероятно, потому в ней еще не вполне выражена эта модель, по которой построены последующие агиографические переработки Лескова. Я имею в виду прежде всего



вторую половину „Легенды”, которая довольно близка к первоисточнику — во всяком случае рассказанными в ней событиями: преступления Даниила, пробуждение в нем совести и его хождения по святым отцам — к папе Римскому и патриархам Александрийскому, Эфесскому, Царьградскому, Иерусалимскому и Антиохийскому. Первосвященники во многих вопросах не сходились друг с другом, но в один голос убеждали Данилу, что убить варвара, „нехрестя” — не грех. А Данила, как их ни уважал, не мог поверить, что убийство может быть негреховным, и мучился терзаниями своей совести.

В „Легенде”, как и в ее первоисточнике, подчеркивается, что мытарства Даниила продолжались долго, очень долго, пока он не „понял, что гнетущую его совесть надо считать не за кару неумолимого Бога, а за доброе напоминание, недопускавшее Данилу до легкого самоусыпания. Не возвратить жизнь тому, у кого ее отнял, и, сделав зло, не должно тратить силы и время на разговоры, а делать доброе дело”.

Как уже сказано, близость „Легенды о совестном Даниле” к первоисточнику только тематическая. Но и такой близости в дальнейших произведениях уже нет. Да и „Легенду о совестном Даниле” можно назвать переработкой проложного чтения, в сущности, только во второй ее половине.

Первая же, написанная как введение, есть не что иное, как историко-бытовой очерк о времени и месте, в которых происходит действие второй половины „Легенды”. Текст первоисточника здесь использован минимально, и он растворяется в тексте Лескова. Посмотрите, как не по-житийному обстоятельно повествование в „Легенде”. Вот, например, вступительная фраза:

„Полторы тысячи лет тому назад на Востоке, близ Синайской горы, жил в маленьком ските молодой человек по имени Данила”.

Но Лескову мало этой обстоятельности. Он продолжает повествование и сообщает читателям, какими были скиты первых христиан, как жили в них скитники, кем были „варвары” и каковы были их взаимоотношения с христианами; и это — на нескольких страницах.

Правда, хотя историко-бытовой материал пополняет „Легенду о совестном Даниле”, очень часто он не только не связан с сюжетом, но как бы вытекает из сюжета. К тому же есть много случаев, когда он не идет сплошным потоком, а разбросан в виде отдельных деталей, очень непринужденно и искусно.

Особенно интересен в „Легенде” характер подачи авторских размышлений, которые, как правило, построены таким образом, что делают повествование о древности то вневременным, то современным нам. Авторские мысли в виде текста от автора встречаются нечасто. Например:

„Между варварами, как и между крещеными, но непросвещенными людьми, есть такие суеверные, которые будто в Бога верят, а сами любят примечать приметы и выводить из них причины вещей по своим догадкам”.

Гораздо чаще авторские мысли Лесков вкладывает в уста своих героев: „Княже, — обращается Данила к своему судье, — я начал думать: не закрыли б от глаз наших слово Христово слова человеческие, тогда отбежит от людей справедливость, и закон христианской любви будет им все равно как бы неизвестен”.

Если в „Легенде о совестном Даниле” мы еще находим стремление автора хотя бы в какой-то мере

следовать первоисточнику, то в последующих лесковских переработках проложных чтений можно наблюдать все большее удаление от первоисточника. Последнее обращение Лескова к „Прологу”, легенду „Невинный Пруденций”, едва ли вообще можно назвать переработкой агиографического произведения, так как она отличается от проложной повести, давшей толчок работе Лескова, чуть не всеми своими компонентами.

Для нашей темы гораздо интереснее повести „Прекрасная Аза” и „Гора” (хотя и они в значительной мере — плод самостоятельного творчества Лескова). К тому же обе повести — произведения подлинно художественные, да и любимые самим автором.

О „Прекрасной Азе” Лесков, например, писал, что она „особенно любима”\* им, поскольку она „лучше Памфалона”\*\* (который для него долго был образцом проложных обработок), а о „Горе” заявил, что „она обработана лучше всего прочего, сделанного в этом роде”\*\*\*.

Прочитав рецензию на „Гору” молодого критика С. Трубачева, Лесков писал: „Гора’ требовала труда чрезвычайно большого. Это можно делать только „по любви к искусству” и по уверенности, что делаешь что-то на пользу людям, усиливаясь подавить в них инстинкты грубости и ободрить дух их к перенесению испытаний и незаслуженных обид. „Гора” столько раз переписана, что я и счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает „музыки”. Я это знал, и это правда, и Трубачеву делает честь, что он заметил эту „музыкальность язы-

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 400.

\*\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 397.

\*\*\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 358.

ка". Лести тут нет: я добивался „музыкальности”, которая идет этому сюжету как речитатив”\*

И „Гора”, и „Прекрасная Аза” имеют в своей основе не освященные Церковью жития, а собственно апокрифические сказания, каковыми являются и повести Лескова. Об этом писал и сам автор, даже в официальных, опубликованных им документах, не придавая, впрочем, такой апокрифичности никакого значения (что естественно, поскольку под его пером и тексты вполне канонические нередко становились апокрифическими). Об апокрифичности „Прекрасной Азы” Лесков упомянул, рассказывая в послесловии, которое сопровождало первопечатный текст (в газете „Новое время” от 5 апреля 1888 г.), о личности своей героини.

„Житийные книги не почитают Азу святою, — писал он. — Повесть ее — просто есть повесть для чтения, или „пролог”, или еще, как говорит Феофан Прокопович, быть может и „басня”, но в ней, несомненно, есть поэтическая прелесть и литературное значение, которое стоит отметить. Русскими стихотворцами было сделано несколько попыток опозитивировать грешницу, которой „простится много за то, что она много возлюбила” (Луки, VII, 47”)\*\*.

Далее Лесков отмечает, что даже писатель, который „сильнее всех стремился” к такой поэтизации, Вс. Крестовский, создав „Гитану”, все же „не успел в своей попытке”. Лесков видит главную причину неудачи Вс. Крестовского в том, что он не только не понял характера своей героини, которая „милостыню грешным телом подала”, но не понял даже евангельского текста, относящегося к этому эпизоду (во всяком случае читатели „Гитаны” такого автор-

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 460.

\*\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 597.

ского понимания не ощущают). Фразу о том, что грехи ее были прощены потому, что она „много возлюбила”, надо понимать так, что, хотя она и грешила, но и самоотверженно любила людей, а совсем не так, будто она „много любила”, то есть грешила.

Лесков находит, что воссоздание евангельского образа этой женщины для современных писателей очень трудно, ибо представляет собой задачу, „дать изображение такого женского лица, к многим грехам которого почтительная рука могла бы позволить себе приблизить евангельский текст, не опасаясь понизить высокий смысл его священного значения”\* . Именно подобное изображение видит Лесков в проложном повествовании о египтянке Азе, и в этом смысле образ Азы „есть находка”\*\*\*.

Первая попытка Лескова использовать „эту находку” в собственном произведении не была попыткой создания отдельной повести об Азе. Первоначально написанный о ней этюд Лесков включил вместе с другими 36 этюдами о женщинах из „Пролога” в большую рукопись, над которой работал в течение 1886—1888 гг. В письмах Лесков называл эту рукопись „Женские типы по Прологу”\*\*\*\*, или „Систематическое обозрение Пролога”. Предназначал он ее для полной публикации в журнале „Исторический вестник”, редактировавшемся историком и писателем С. Н. Шубинским, с которым у него были давно и хорошо налаженные творческие и дружеские отношения.

Однако, ознакомившись с рукописью, С. Н. Шубинский от ее публикации отказался, мотивируя

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII с. 598.

\*\* Н. Л е с к о в, том XI, с. 371.

\*\*\* Недаром Л. Н. Толстой с похвалой сказал Лескову, что он сам „писал мужчин”, а Лесков „дает женщин той же семьи” (Н. Л е с к о в, том XI, с. 389).

отказ „безнравственностью” ряда входящих в нее этюдов. Лесков утверждал, что его „Обозрение” „серьезно и нравственно”, что в нем „все скромно”, что он, „не усиливал, а смягчал всякое выражение Пролога”\*. Однако мнение С. Н. Шубинского поддержали многие видные лица, конфликт стал широко известен в литературных кругах, и работа Лескова в печати не появилась.

Еще до возникновения этих неприятностей Лесков получал предложения о публикации одного из входивших в „Обозрение” этюдов — с тем, чтобы выбранный сюжет был доработан и приобрел вид самостоятельного большого повествования. После некоторого колебания Лесков выбрал „Азу” и в течение февраля и марта 1888 г. работал над нею „с любовью и крайней тщательностью”, положив в основу два проложных чтения — „Слово о девице” и „Слово о покаянии”.

По мнению Лескова, в рукописи его „Обозрения” были образы „не менее Азы интересные, но такой грациозный — один”\*\*. Поэтому писатель и отдал Азе предпочтение, когда раздумывал, какую из героинь „Обозрения” выбрать для отдельного рассказа. Помог этому выбору И. А. Гончаров, который предварительно прочитал всю рукопись „Обозрения” и которому легенда об Азе показалась „наивною, но полезною для людей распутной свободы”\*\*\*.

Когда Лесков придал легенде окончательный вид, И. А. Гончаров один из первых сообщил автору свое мнение о повести, оценив ее весьма высоко. Также положительно оценили повесть Лескова и

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 598.

\*\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 598.

\*\*\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 599.

другие литераторы — А. И. Фаресов, В. М. Лавров, В. А. Гольцев, Я. П. Полонский, Л. Н. Толстой...

Особенно обрадовался Лесков получению толстовского письма — не только потому, что это были похвалы от „самого Толстого”, но и потому, что ко времени получения письма до Лескова дошел слух, будто бы Толстой осудил чересчур филигранную обработку повести, а это способствовало ее отдалению от агиографического первоисточника.

Лескова этот слух так огорчил, что в поисках сочувствия он даже пересказал А. С. Суворину якобы сказанные Толстым слова: „Зачем, говорит, очень хорошо написано, это заставляет обращать внимание на художество, красоту и закрывает суть. А как бы он хотел? Там в Прологе стоит, например: „Иди, облязи со мною”. А она отвечает: „Не хочу днесь спати”. Так и оставить?”\*

Получив от Толстого письмо с похвалами по поводу „Прекрасной Азы”, Лесков сразу же сообщил об этом А. С. Суворину: „Получилось письмо Льва Николаевича об „Азе”, — писал он. — Это совсем не то, что говорили. Он пишет, что „ставит „Азу” выше всего” и дальше другие похвалы... Ровно никакого замечания — всю одобряет и хвалит с головы до ног и советует мне „еще написать такую”\*\*.

Одновременно (с середины 1887 г. по середину 1888 г.) с повестью „Прекрасная Аза” Лесков писал повесть „Гора”, или, как она долго называлась автором, „Зенон Златокузнец”. Как и „Прекрасная Аза”, „Гора” написана на египетском материале и даже имеет подзаголовок „Египетская повесть”. О ней Лесков писал в газете „Русские ведомости”:

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 599.

\*\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 599.

„Повесть „Зенон”, если можно так выразиться, есть повесть обстановочная. Тема ее взята из апокрифического сказания, а историческая и обстановочная ее сторона обработаны по Эберсу и Масперо и по другим египтологам. Повесть представляет собой интересное старинное происшествие. Герой повести „Зенон” — художник из Александрии, а героиня Нефорис — богатая вдова из Антиохии, влюбленная в Зенона и обращаемая им в христианство. Все события происходят в конце третьего или начале четвертого века в самом городе Александрии и частью на утесе Адер около одного из гирл реки Нила”\*.

Нельзя не заметить, что, определяя в этом письме свою повесть как „обстановочную”, Лесков более чем скромнен: здесь не простая обстановочность, декоративность, а на редкость правдоподобное воспроизведение эпохи. Перечитаем наугад два каких-нибудь „обстановочных” отрывка.

В первом описывается жилище Зенона. „В чаще кустов стоял белый домик, и на нем, как живой, медный аист на белом фронтоне. Вокруг было множество лилий и роз, а у самых стен и у белого мраморного порога лежали целые пласты зеленого диорита. Здесь было свежо, тихо и целомудренно, здесь жил художник... Мастерской была очень большая и высокая квадратная комната без окон; мягкий свет проникал в нее через потолок, сквозь фиолетовую слюду, отчего все вещи казались обвитыми как будто эфирной дымкой. Посередине комнаты на полированном красном порфире красовался бронзовый ибис, и из его клюва струилась свежая вода; стены окружены были колоннами и ровно окрашены красновато-коричневою краской, на которой

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, с. 602.



резко выделялись белые мраморные и лепные фигуры, изображавшие людей и животных. Здесь были и легкие маски женщин, и тяжелые головы фараонов, и задумчивые морды верблюдов, и хищные пасти крокодилов. Зенон, как большинство художников того давнего времени, знал не одну златокузню. Подобно известному со времен Амазиса художнику Феодору, Зенон был и архитектор, и плавильщик, и лепщик, и ваятель, и во всем он был мастер, и знаток, и любитель всякого изящества, о чем и не мудрено было заключить по его жилищу, перед которым теперь стояла Нефора, вдыхая оттуда прохладную свежесть и аромат, разливавшийся из красивых, яркою поливой покрытых тазов, в которых рос золотистый мускат и напоял всю атмосферу своим запахом...

Зенон дернул за шелковый шнур, и от движения этого шнура одна панель в красной стене его мастерской сейчас же раздвинулась. За нею открылся вход в высокую, очень просторную комнату, стены которой были гладко отделаны кедром, издававшим самый тонкий и едва заметный здоровый, смолистый запах; в ней были четыре большие окна, из которых открывался широкий вид на меланхолический Нил, а по ту сторону вод в отдалении темнели спаржевые поля.

Через открытые сверху донизу окна и отпертую дверь на террасу сюда обильно тек чистый воздух, не насыщенный ничем раздражающим и наркотизирующим. Солнце не сверкало в глаза, и только синее небо да синие воды тихо отражали на всем свой ровный и спокойный оттенок.

Убранство покоя состояло из нескольких низких и широких диванов, покрытых мягкими стегаными матрацами из нежной овечьей шерсти, накинутыми сверху еще более нежными двусторонними египет-

скими коврами. Перед каждым диваном были поставлены маленькие столики и табуреты, а посередине комнаты помещался большой стол на львиных лапах, и на этом столе стоял завтрак, который приготовил Зенону ушедший праздновать таинства Митры служитель...

Из одного окна открылся на пологом скате к реке прекрасно содержанный сад, разбитый по-египетски радиусами от центра, который обозначался фонтаном у небольшого обелиска из красного гранита, а в конце одной из дорожек была такая же гранитная лестница. К одному из столбов этой лестницы была прикована бронзовою цепью роскошная, очень пестро, по-египетски раскрашенная нильская барка. На носу ее красовался огненно-красный крылатый грифон, а на корме завязанный в узел хвост какого-то морского чудовища. Посредине барки был паланкин, где на бронзовых прутьях висели в густых складках полы мягкой полосатой материи — синей с белым\*\*.

А вот как описан наряд Нефоры:

„Небольшая на круглой шее головка Нефоры была покрыта широким и тонким кефье в голубых и белых полосах: мягкие складки этой искусно положенной, изящной повязки облегали, как воздух, ее лицо и черно-синие кудри. Кефье было перевязано желтым шнуром. Уши, руки и пальцы Нефоры были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на стройной шее лежало золотое ожерелье из множества мелких цепочек, и на конце каждой из них дрожали жемчужные перлы. Ресницы Нефоры были подведены по египетской моде, концы пальцев слегка подрумянены, а тонкие ногти напудрены розовым перламутром. Гибкий стан Нефоры охватыва-

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, сс. 308, 315, 317.

ла легкая туника полосатой материи — розовой с белым, а вместо пояса ей служил золотистый шелковый шнур, у одной из кистей которого висело маленькое зеркальце и такой же маленький сверленный из самоцветного камня флакон с пахучею индийскою эссенцией”\*

Подобным же образом орнаментирована вся повесть. Однако, за этим богатством, этой тщательностью словесной орнаментации Лесков не забыл и о сюжете, заострив его так сильно, что читатель находится в напряжении во время чтения всей повести.

Напряжения читательского внимания автор достигает не только тем, что предельно напряжена любовная интрига повести, но и тем, что эта интрига развивается на фоне не менее напряженных трагических событий египетской истории.

В основе этих событий (как, впрочем, и в основе всех важных событий в Египте) было состояние Нила. Вот уже несколько лет подряд Нил не разливался. Стране грозил голод, и народ начал роптать против правителей. Надо было дать народному ропоту новое направление, и языческие жрецы стали объяснять недовольство богов поведением христиан, в последнее время начавших активно заселять Александрию и ее окрестности.

Немалую роль в планах жрецов играл тот факт, что один из них узнал о словах Иисуса Христа, записанных Его учеником Матфеем: „Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе „перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас”\*\*. Жрец рассказывал об этом изречении своим единоверцам-язычникам,

---

\* Н. Л е с к о в, том VIII, сс. 309, 310.

\*\* Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20.

подбивая их потребовать от христиан сдвинуть гору Адер, заграждавшую прямой путь нильским водам.

Если бы христиане согласились, жрецы собирались приписать успех себе, поскольку именно они советовали обратиться к христианам. В случае же неудачи (на которую жрецы очень надеялись) можно было обвинить христиан в нежелании помочь египетскому народу и, таким образом, направить недовольство против них.

Коварное измышление жрецов привело христиан в смятение, ибо про себя каждый из них был уверен, что гора Адер неколебима.

Тогда Нефора посоветовала послать за Зеноном (который, как всегда, работал в своем загородном доме и не знал об опасности, нависшей над христианами). Она сказала, что он — человек глубокой веры, так как ради своей и ее чистоты (которой требует от христиан их Бог), он нашел в себе силы отвергнуть такую красавицу, как она.

Зенон пришел по первому зову, и его вера была так горяча и непоколебима, что для Нефоры вся жизнь осветилась новым светом. Она заявила, что сделает все, что он пожелает, станет его бескорыстным другом и верной христианкой, а весь смысл ее существования будет отныне в том, чтобы делать добро. И тут началось землетрясение и часть горы обвалилась, направив воды на пересохшие поля. Гора сдвинулась.

Как видим, содержание повести отнюдь не так просто и поверхностно, как оно выглядит из письма Лескова в „Русские ведомости”. В письме все было правдой, но это была далеко не вся правда. Зенон действительно был художником из Александрии, а Нефора — богатой вдовой из Антиохии. Нефора действительно влюбилась в Зенона, а Зенон действи-

тельно обратил ее в христианство. Но сказать о повести только это значит умолчать о главном в ней — о том, что сам Лесков называл „тенденцией повествования”.

Тенденция эта — в противопоставлении Зенона с его „истинной” глубокой, хотя и не вполне канонической верой, маловерам патриарху, епископу и другим блюстителям формальных обрядов.

Естественно, что подобная „тенденция” мешала повести увидеть свет: некоторых редакторов она коробила, другие боялись цензуры. В связи с этим интересно привести разговор между Лесковым и редактором журнала „Неделя” П. А. Гайдебуровым, пересказанный в воспоминаниях друга писателя А. И. Фаресова:

„Лесков передал повесть П. А. Гайдебурову в „Неделю”, но тот приехал к автору просить „пожертвовать тенденцией”.

— Такое прекрасное описание египетской жизни, — говорил он. — Обстановка, природа, обычаи — удивительно художественно воспроизведены; но для сохранения повести необходимо пожертвовать тенденцией. Мне хочется напечатать ее, но в этом виде, как возьму я ее в руку, она жжет мне пальцы.

— Отымите от рассказа тенденцию, — отвечал Лесков, — от него ничего не останется. Выйдет глупая басня. Я именно и писал его затем, чтобы человек своей верой мог увлекать людей, двигать горами, как Зенон готовностью умереть за веру тронул и сдвинул чужое сердце... Мне только это и мило в моем рассказе, а вы меня просите пожертвовать тенденцией и оставить только рамки рассказа и краски.

Так они и разошлись. По уходе Гайдебурова Лесков сказал:

— Настоящий литератор никогда не посоветовал бы сохранить художественность без идеи...»\*

Этот диалог полезно дополнить выдержкой из письма Лескова к Репину, которому он отвечал на просьбу читать в доме художника только что оконченную „Гору”: „Вещь эта *трудная*, — писал Лесков, — и ее можно читать только тем, кто понимает, как ково было все это измыслить, собрать и слепить, чтобы вышло хоть нечто не совсем обстановочное, а и идейное, и отчасти художественное. Таких слушателей негде взять. Потом „идея”... Для меня, для Толстого, для Вас — это *суть*, а для всех теперь идея не существует. Я в ужасе, я в немощи, я в отчаянии за ту полную безыдейность, которую вижу”\*\*.

Из-за непреклонности Лескова, не желавшего видеть в своей повести ничего предосудительного, „Гора” испытала многие мытарства: долго не могла быть напечатана, а затем подверглась автоцензуре и все-таки цензуре.

Но как ни велики были эти мытарства, они — ничто сравнительно с тем, что выпало на долю легенды „Невинный Пруденций”, опубликованной в конце концов в № 1 журнала „Родина” за 1891 г. Основой легенды было проложное „Слово от Патерика о купце, рачительствующем на жену”, которое имеет очень простой сюжет. Вот этот сюжет.

Некий купец пожелал жениться на вдове, та согласилась, однако велела ему ничего не есть, пока она не позовет его к себе. Вдова послала за купцом лишь на четвертый день, но от голода он уже едва двигался. Вдова предложила ему выбор между трапезным столом и любовным ложем, и купец выбрал стол. В поступке вдовы купец усмотрел ее муд-

---

\* А. Ф а р е с о в, А. К. Шеллер, СПб, 1901, сс. 135—136.

\*\* Н. Л е с к о в, том XI, сс. 414—415.

рость, роздал все свое имущество и ушел в монастырь. Ушла в монастырь и вдова.

При переделке этого повествования Лесков не только расцветил его деталями, не только очень усложнил его сюжет (и то, и другое нам знакомо по всем остальным лесковским переделкам проложных чтений), но и существенно изменил главную идею произведения. В „Невинном Пруденции” Лесков говорит не столько о служении Богу, сколько о служении людям, да к тому же в лесковский рассказ введена тема земной любви, которая в нем и очень активна, и очень опозитизирована.

В результате в легенде Лескова возникло противоречие между аскетической христианской моралью и земной жизнью с ее заботами и радостями. Именно благодаря происшедшему в рассказе раздвоению главной идеи один из критиков имел возможность написать: „Пруденций читает следующую мораль, которой он в своей невинности никогда не следовал: „Надо считать дух, а не плоть владыкою жизни и жить не для тех чувств, которые научают нас особиться от других людей””\*

Вообще критика встретила „Невинного Пруденция” либо безразлично, либо отрицательно. Особенно резко отозвался о легенде профессор богословия Григорий Георгиевский, который писал в статье „Апокрифическое сказание или литературная фальсификация”, что само направление жития Лесков „передал неверно, придав рассказу свою собственную тенденцию и отбросив из него все, что говорит или напоминает о церкви и ее исконных установлениях и порядках... „Слово от Патерика” из благочестивого и строго церковного „слова” превратилось

---

\* Опубликовано в журнале „Северный вестник”. Цитирую по книге: Н. Л е с к о в, том IX, с. 602.

в тенденциозный набор пустых фраз грубого материализма”\*

Рецензия Г. Георгиевского очень обидела и возмутила Лескова. По ее прочтении он писал А. С. Суворину: „Статья Георгиевского укоряет меня за „фальсификацию Пролога” по случаю рассказа „Пруденций”. Это уже было раз сделано по другому поводу („Аскалонский злодей”), и Вы потом разъяснили в мое оправдание, что тема Пролога не обязательна к точному ее воспроизведению. Тема как тема, а я могу из нее делать, что нахожу возможным. Иначе на что бы ее и переделывать, а надо бы брать ее просто и перепечатывать... И вышло бы просто и глупо, как сам Пролог. Но профессор университета этого не понимает!.. А что касается „Пруденция”, то я с ним думал долго и советовался о нем с Гончаровым. Гончаров тоже обдумывал мою тему Пруденция и находил ее невозможной в том виде, как она в Прологе. И я ею пользовался только как темой, а развил ее как умел — свободно, и отчасти при содействии Гончарова. — И вот это вина, это преступление против православия!.. Прочтите, пожалуйста, письмо Гончарова и возвратите его мне.

„Сказанием” это озаглавил Чертков, а у меня она названа „повесть”, и я, конечно, мог ей дать любую развязку, так как я источника не указывал. Да хоть бы и указывал, то ведь исторические повести могут же отступать от исторического учебника. — Что же это за придирки!.. И это профессора!”\*\*

Если сам рассказ „Невинный Пруденций” можно считать иллюстрацией тех принципов, которым сле-

---

\* Опубликовано в журнале „Русское обозрение”. Цитирую по книге: Н. Л е с к о в, том IX, сс. 602—603.

\*\* Н. Л е с к о в, том XI, сс. 517—518.



довал Лесков последние годы своей работы над проложными чтениями, то процитированное письмо является идеально сформулированным изложением самих этих принципов. В таких качествах переоценить значение и рассказа, и письма невозможно — несмотря на то, что через три-четыре месяца Лесков настолько разочаровался в „Невинном Пруденции”<sup>у</sup>, что называл его „гадостным Пруденцием” и считал нужным объяснять, по каким причинам он все-таки вводит этот рассказ в собрание своих сочинений.

Впрочем, очень может быть, что это — не столько результат разочарования Лескова именно в „Невинном Пруденции”, сколько охлаждение к работе над „Прологом” вообще — 23 января 1891 г., только что опубликовав „Невинного Пруденция”, Лесков писал Л. Н. Толстому: „Легенды мне ужасно надоели и опротивели”<sup>\*.</sup>

Но и в этом случае понять Лескова можно: слишком трудоемкой была работа над легендами, слишком много было хлопот с духовной цензурой, слишком настойчиво отвлекали писателя от проложных чтений обступавшие со всех сторон современные сюжеты.

Одно время Лесков задумал совместить в одном рассказе агиографическую тему с современной. Вот как он сам рассказывал об этом замысле в письмах Л. Н. Толстому от 26 июня и 22 июля 1888 г.: „Я перечитал лекции Ф. А. Терновского по церковной истории. В них упоминается о направлении, которое обнаружилось в III веке у христиан в Севастии, — что они признавали войну делом непримиримым с христианской верой и воевать не хотели, но в солдаты шли, когда их забирали насильно, но там (в службе) опять оружие для нанесения смерти и ран в

---

<sup>\*</sup> Н. Л е с к о в, том IX, с. 602.

руки не брали, а чтобы отстоять свое убеждение, безропотно подвергались мучительствам и позорной смерти. Таких „святых мучеников, *иже в Севастии*”, поминает и наша греко-восточная церковь...

У меня есть копия казенной переписки о том, что делать с духовными христианами, которых впервые набрали в рекруты в 30-х годах и они повели себя во многом подобно как мученики, „*иже в Севастии*”. Император Николай тогда велел отдать их в „профосы”, чтобы устыдить их и унижить, но они этому были рады и чистили ямы с удовольствием. К несчастью их, какой-то гарнизонный дока доискался однако, что к обязанностям „прохвостов” принадлежит также „заготовление розог и шпицрутеннов” и самое исполнение палаческих обязанностей в обозе...

Я имею такой план, что мальчик раскольничьей семьи, перешедшей в господствующую церковь, живет с дедушкой, добрым стариком, но дремучим буквоедом, в землянке, на задворках и читает ему о мучениках в Севастии, и двадцати лет открывает в книге то, чего дед „чел, чел, да не узрел”. Придут начетчики и двенадцатилетний хлопец с ними будет спорить о *духе* и „остро придет им слово его”, и „да не разорит он предания”, отдадут его в солдаты, как „худую траву — из поля вон”.

А там он пойдет „под пеструтины” и будет „профосом” во исполнение повеления. Его доброта, чистосердечие, насмешки над ним, он — „прохвост”. Аудитор богомольный научит заставить его быть „обозным палачом”. Надо удавить жида и поляка. „Прохвост” отказывается и делается новомученик по севастийскому фасону. Таков мой план или моя затея...”\*

---

\* Н. Л е с к о в, том XI, сс. 390—392.

Этот замысел Лесков в жизнь не претворил (разве что использовал его небольшую часть в рассказе „Антука”), но и „Пролог” его больше не вдохновлял. После „Невинного Пруденция” Лесков уже никогда не вернулся к работе над агиографическими сюжетами. Так он и не исполнил своего намерения „показать” читателям „все” прекрасные места „Пролога”, чтобы другим для такого „показа” уже „ничего не осталось”.

Впрочем, после „Невинного Пруденция” Лесков практически вообще ничего нового не писал. Тяжелая сердечная болезнь, которая началась у него давно, приняла теперь мучительнейшую форму — приступы возникали при малейшем волнении. „Я живу, — сообщал он А. С. Суворину 31 октября 1892 г. — читаю и даже пишу, но малейшее потрясение — депеша, незнакомое письмо, недовольный взгляд — тотчас же вызывают в аорте мучительнейшие боли, от которых надо лежать и стонать...”\*

Прошло несколько месяцев, и жить стало почти невозможно. „Я не могу надеть ни сюртука, ни фрака, и последний давно подарил знакомому лакею, — писал Лесков Л. И. Веселитской 26 января 1893 г. — Боль сердца у меня не переносит никакого плотного прикосновения к груди”\*\*.

А стоило появиться хотя бы совсем незначительной боли, она увеличивалась и, как тисками, сжимала сердце, вызывая смертельный ужас. Потом наступала слабость, депрессия... Так продолжалось почти три года. 21 февраля 1895 г. Лесков умер.

В последние перед смертью годы, в дни, когда болезнь мучила немного меньше, у него еще хватало сил, чтобы писать, однако таких ярких и интересных вещей, как легенды, создать ему уже не удалось.

---

\* Н. Лесков, том XI, с. 467.

\*\* Н. Лесков, том XI, с. 528.

## Марксизм и контроль рождаемости в СССР

## 1

Выражение „контроль рождаемости” плохо звучит по-русски, а в других языках имеет нейтральное, чисто описательное значение. Австралийский демограф Джон Ф. Бесемерес остроумно заметил что советская история наложилась в этом отношении на русский язык, так что, если сказать по-русски „контроль рождаемости”, люди будут думать, что это имеется в виду, что бюрократы сидят под кроватью и следят за стахановским воспроизводством в обстановке расцветающей плодовитости<sup>1</sup>. Советские демографы (хотя, строго говоря, в СССР невозможны демографы, и в точном смысле слова их нет) выходят из положения тем, что вместо русского выражения пишут по-английски „birth control”. По-видимому, эти авторы, как и советская цензура, согласны с Бесемересом.

На деле, контроль рождаемости — это технический термин, противопоставленный понятию „естественной плодовитости”. Последняя означает биоло-

---

Мы публикуем, с любезного разрешения автора, отрывок из его подготовленного к печати труда: M. S. B e r n s t a m. Demography of Soviet Ethnic Groups in World Perspective. In: Nationalities and Soviet Future. Ed. by Robert Conquest. (Stanford, Ca.: Hoover Institution Press, 1984), forthcoming. — Р е д.

гический потолок живорождений, характерный для данной популяции при отсутствии сознательного ограничения количества детей в семье<sup>2</sup>. Возможны бессознательные, осуществляемые на над-индивидуальном, популяционном уровне формы ограничения рождаемости: например, религиозные посты (ослабляющие физическую плодовитость и ограничивающие периоды репродукции), откладывание браков до более позднего возраста женщин, традиция очень ранних браков (ослабляющая женскую плодовитость), традиция платных браков (приданое, калым, кайтарма), традиция браков молодых женщин с престарелыми мужчинами, многоженство, многоженство, сословно-кастовые ограничения выбора брачных партнеров, чрезмерно продолжительное грудное кормление новорожденных (удлиняющее интервалы между зачатиями) и мн. др. С начала демографической транзиции от высокой рождаемости к низкой рождаемости, появилась полубессознательная — полусознательная форма контроля рождаемости — миграция. В дореволюционной и раннеревolutionной России такой формой была сезонная миграция — отходничество. Интересно отметить, что „отходничество” часто переводится на английский язык тем же словом, которое означает прерванное половое сношение: withdrawal. И, действительно, экономически и популяционно отходничество есть форма прерванного сношения и сокращения детности. Как проанализировал Кингсли Дэйвис в своих классических работах, принятие популяциями массовых переселений, особенно не-полносемейных переселений (в города, в другие районы, в другие страны), как допустимой нормы социального поведения, было равнозначно первоначальному принятию противозачаточных средств как социальной нормы<sup>3</sup>.

В России демографическая транзикация к низкой рождаемости и соответственно низкой смертности была преопределена столыпинской аграрной реформой. Ликвидация общины и земельных переделов сняла необходимость иметь как можно больше мужских душ в семье и создала обстановку, в которой люди были заинтересованы заботиться о как можно большем выживании детей. Дети стали капиталовложением, человеческая жизнь в условиях частной собственности на землю приобрела экономическую ценность. Снижение рождаемости должно было привести к быстрому снижению смертности\*, что, в свою очередь, вело бы к дальнейшему снижению рождаемости до оптимального уровня воспроизводства поколений (т. е. к нулевому приросту населения). В условиях динамичного русского капитализма, особенно быстро растущей промышленности производства потребительских товаров, спрос на средства контроля рождаемости должен был привести к созданию контрацептивной промышленности и распространению знаний о контрацепции.

Русская общественность сделала характерный перекоc в этом вопросе. Вместо агитации за производство противозачаточных средств и распространения знаний о них, съезд Пироговского общества в 1913 году и съезд русской секции международного

---

\* Снижение смертности в России исторически совпало уже с послереволюционным периодом (если не считать массовых убийств и голодов). Среди западных специалистов предметом постоянной насмешки являются настоячивые утверждения советских демографов, что это советская власть привела к снижению смертности. Нас часто спрашивают, слышали ли советские авторы об изобретении антибиотиков и детских прививок, или о том, что смертность снизилась в XX веке в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы отвечаем: но ведь советская власть могла и не разрешить пенициллин.

союза криминологов в 1914 году рекомендовали отменить закон, преследующий за производство искусственных абортов. Мотив такой рекомендации был основателен: нелегальные аборты широко распространялись и приводили к медицинским осложнениям для здоровья женщин. Приводились и типичные демагогические доводы: не нужно рожать детей, если им предстоит жить при капитализме и царизме. Отдельные голоса за преимущество контрацепции тонули в тогдашней обстановке<sup>4</sup>. Зато еще никем тогда не слышимый Ленин сразу отозвался на эти дебаты и в „Правде” от 16 июня 1913 года решительно сформулировал последовательно-марксистскую, т. е. диалектически-противоречивую позицию: а) надо „отменить законы, преследующие за аборт или за распространение медицинских сочинений о предохранительных мерах”, б) надо „бороться против неомальтузианства”, „искусственных мер, предохраняющих от зачатия”<sup>5</sup>. Трудно сказать, как эту диалектику восприняли читатели тогдашней „Правды”. На первый слух, все это звучит, как условие игры „да” и „нет” не говорить (впрочем, и названные общественные съезды прошли не намного выше уровнем). На деле, марксистская антимальтузианская позиция, став через несколько лет демографической политикой социалистического государства, имела решающее значение для населения России.

### 3

Особенная черта демографической транзиции от высокой рождаемости к низкой рождаемости во всех марксистских странах, независимо от национальных традиций и уровня экономического разви-

тия, заключается в том, что транзичия к низкой рождаемости произошла или происходит без фундаментальной транзичии от абортов к контрацепции на поздних стадиях снижения рождаемости. Другие популяции, в немарксистских странах, злоупотребляли абортот только на ранних стадиях снижения рождаемости, а потом перешли к контрацепции, — например, в Японии этот переход имел характер подлинной революции жизни людей и произошел всего за несколько лет с середины 1960-х до середины 1970-х годов. Таким образом, транзичия от старого семейного уклада к новому (к низкой смертности и низкой рождаемости) сначала приняла неизбежные варварские формы (аборты), но затем, по мере уменьшения числа детей в семье и соответственно по мере увеличения степени контроля рождаемости, люди нашли, что приходится делать слишком много абортов (свыше 2,5 абортов, надо, чтобы предотвратить одно рождение, т. е. за период, приходящийся на одну беременность и одно кормление, надо сделать 2,5 аборта.). Произошел переход к контрацепции, то есть в XX веке произошел в сфере семьи и отношений между полами переход от варварства к цивилизации<sup>6</sup>.

Это произошло везде, кроме марксистских стран. В марксистских странах демографическая транзичия от высокой рождаемости к низкой повернулась распространением варварства и уродования женщин. Аборт стал такой же неотъемлемой частью жизни, как грипп или рак, или как холера и чума были в средние века. Ограничение числа детей в семье в марксистских странах оказалось простой экспансией искусственных абортов, ограниченных только патологическим вторичным бесплодием женщин.

Правящая марксистская идеология является в этом отношении решающим фактором в предпопре-



делении антимальтузианской демографической политики. Парадоксально, но самые государственно-контролируемые экономические системы устроили самую либеральную социально-демографическую политику с полным отказом от какого-либо институционализованного планирования размера семьи<sup>7</sup>. СССР был первой страной в мире, которая в 1920 году легализовала аборт. В 1936 году они были запрещены, но при отсутствии контрацепции (которая тоже была фактически запрещена) лишь ушли в подполье. В 1955 году аборт в СССР были снова разрешены, но рождаемость даже не упала от этого: просто аборт вышли из подполья. Вслед за СССР то же произошло во всех восточноевропейских марксистских странах, кроме Албании, где аборт все еще под запретом.

Во всех странах, переходящих к низкой рождаемости, государство или общественные организации, национальные и международные, учредили институции планирования семьи и поощрения контроля рождаемости (в Таиланде, например, бесплатно раздают презервативы и учат, как ими пользоваться). Советский Союз еще в 1947 году в комиссии ООН по вопросам населения заклеил распространение контрацепции как „варварскую” политику, а в 1953 году Н. С. Хрущев публично назвал контроль рождаемости „каннибализмом”<sup>8</sup>. Вскоре, как отмечено выше, СССР легализовал аборт, но цивилизованный контроль рождаемости остался в марксистском миропонимании формой варварства и насилия над популяциями. Восстановление аборта было, в согласии с марксистской доктриной, подано не как форма контроля рождаемости, а как уравнение статуса женщин с мужчинами, как раскрепощение женщин от ненужных родов<sup>9</sup>. В 1966 году А. Н. Косыгин отказался от имени СССР подписать

Хартию Населения, выпущенную ООН и направленную на улучшение контроля рождаемости во всех странах мира. Мотивировка Косыгина была крайне либеральной: репродуктивное поведение есть частное семейное дело, которое не должно быть объектом государственного, общественного или международного планирования<sup>10</sup>.

Менее всего советскую политику и марксистские заявления следует рассматривать как демагогию. Это действительно либеральная доктрина, как это парадоксально ни звучит.

Последовательная, хотя сложно-составная и диалектическая (см. выше высказывания Ленина), антимальтузианская политика марксизма опирается на идею, что никакого конфликта между экономическим ростом и ростом населения не существует и не должно существовать. Конфликт создан искусственно капитализмом, выдуман буржуазными мальтузианцами и должен быть преодолен социализацией экономики. Чем больше населения, тем больше рабочей силы, тем больше продукции, и тем меньше голода и безработицы в условиях социализма. Чем больше населения при капитализме, тем больше безработицы и голода, и тем ближе социалистическая революция (что есть совершенная правда в условиях развивающихся стран Латинской Америки, Азии и Африки). В итоге, идеология и экономика марксизма, основанная на трудовой теории стоимости, содержит сильную отрицательную реакцию в отношении контроля рождаемости.

В то же самое время, марксистская экономическая политика направлена на полное человеческое, включая полное женское, включение в рабочую силу. Все должны трудиться, и все женщины должны трудиться, и только таким путем женщины будут освобождены от демографического неравенства

с мужчинами. Женщины должны быть освобождены от господства институционализированной семьи над их, женщин, индивидуальной свободой и над их социальным предназначением<sup>11</sup>. Таким образом, с другой стороны, марксизм включает экономически мотивированный, хотя и биологически утопический аспект: биологическое поравнение мужчин и женщин, преодоление различия между мужчинами и женщинами, то есть (хотя это прямо не сформулировано) — преодоление деторождения.

Неограниченное деторождение — и преодоление деторождения. Такова диалектика марксизма.

Как результат этого диалектического комплекса, марксистские государства вообще не имеют, в строгом смысле понятия, демографической политики. Контроль рождаемости *ни предлагается, ни запрещается*. Это оставляет систему контроля рождаемости *по требованию, по спросу*.

Теперь мы имеем дело с экономической моделью, которая легко объяснима. Спрос может быть встречен предложением в форме товара (противозачаточных средств) или в форме услуг (искусственных абортов). И то, и другое имеется в недостатке и имеет плохое качество в экономике, нацеленной на преимущественное развитие тяжелой промышленности. Но предложение услуг, которые требуют прежде всего трудовую силу (медиков, фельдшеров) и неодноразовые товары (хирургические инструменты; их не надо производить новые для каждой женщины), осуществимо гораздо легче в марксистской экономической системе, чем дизайн, производство, реклама и распространение через торговую сеть одноразово используемых товаров (т. е. таблеток, внутриматочных спиралей и диафрагм, презервативов, химических составов, и т. д. средств контрацепции, кроме стерилизации).

Аборты, производимые в социализированной системе медицинского обеспечения, также более согласованы с марксистской идеологией, чем контрацепция, поскольку контрацепция есть интимное семейное дело, не поддающееся наблюдению и контролю государства. Контрацепция есть внутрисемейное планирование числа детей, причем государство выступает только как помощник, а не как Госплан. Поэтому Косыгин и выступил от имени СССР против планирования семьи (см. выше). Элемент государственного вмешательства имеется в самом факте поощрения снижения числа детей, и марксизм выступает против этого. Государство не может контролировать половой акт, но может контролировать исход беременности, поскольку она уже состоялась. Крайний либерализм оборачивается крайней государственностью, и поэтому марксизм против контрацепции и за аборты. Наконец, аборты больше соответствуют революционной ментальности марксизма, тогда как контрацепция имеет характер распространения буржуазной модели поведения на низшие классы, обуржуазивание пролетариата в сфере семейного быта.

В практической жизни, система контроля рождаемости по требованию (по спросу), с преобладанием абортов над контрацепцией, крайне дорогостояща для государства. Женские рабочие дни потеряны, и еще государство должно платить за операцию. С другой стороны, производство и распространение контрацепции, как и любого другого одноразового товара, могло бы принести государству огромную финансовую выгоду, особенно социалистическому государству, которое произвольно назначает цены и зарплату. Здесь мы имеем чистый случай господства доктринальной, идеологической системы над любыми практическими финансовыми соображе-

ниями. Ситуация с контролем рождаемости по спросу доказывает господство марксистской идеологии в СССР и других коммунистических государствах, господство идеологии над экономическим прагматизмом и государственными соображениями пользы, не говоря уже о заботе о народном здоровье.

#### 4

Полнейшая неосведомленность советских женщин и мужчин в вопросе контрацепции — первейший результат описанного выше положения вещей. В отношении контроля рождаемости СССР, одна из наиболее промышленно развитых стран мира, стоит далеко позади большинства слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно продолжающемуся Всемирному Обзору Плодовитости (это исследовательская экспедиция ООН), в 1970-е годы осведомленность о противозачаточных средствах среди когда-либо бывших замужем женщин 15—49 лет была 100% на Фиджи и в Коста-Рико, 99% в Панаме и Ямайке, 98% в Венесуэле, 97% в Доминиканской Республике, Иордании и Южной Корее, 96% в Таиланде, Колумбии, Парагвае и Гайане, 95% на Филиппинах, 92% в Малайзии, 91% в Кении и Шри Ланка, 90% в Сирии и Турции. Почти столь же всеохватывающий процент женщин был осведомлен о наиболее эффективных современных методах (таблетки и внутриматочные приспособления), хотя процент действительно использовавших эти методы варьировал <sup>12</sup>.

В СССР, в столичном городе Москве, в 1976 году, опрос замужних женщин, 40% из которых имеют высшее образование и 58% являются специалистами народного хозяйства, показал, что 80—90% ничего

не знали о противозачаточных средствах, кроме методов календаря и прерванного сношения<sup>13</sup>. Этот фактор полнейшей неосведомленности о современной контрацепции очень важен для понимания советского контроля рождаемости.

Советские статистические данные об использовании контрацепции, об эффективности контрацепции и о количестве абортот противоречат друг другу, если их проверить с точки зрения закрытых формул контроля рождаемости, разработанных выше. Например, в Латвии 78,8% на селе и 79,8% в городе из брачных пар используют контрацепцию с теоретической эффективностью 82,4%<sup>14</sup>; средний суммарный коэффициент рождаемости в 1970-е годы был 2,152 детей на женщину, средний индекс брачности был 0,516 (по средней пропорции замужних) или 0,914 (по пропорции когда-либо замужних), но официальное отношение абортот к живорождениям сообщается от 1,4 до 2,0<sup>15</sup>. Это значит, что суммарный коэффициент искусственных абортот должен быть от 3,0 до 4,3 за плодотворный период женщины. Если, тем не менее, индекс использования контрацепции и эффективность контрацепции были так высоки, как сообщают источники, суммарный коэффициент абортот должен был быть от 1,0 при втором варианте брачного индекса и 2,4 при первом варианте (рассчитано по вышепредставленной модели). Значит, официально сообщаемые данные несовместимы.

Ту же несовместимость можно проследить на примере РСФСР. Сообщается, что более 60% женщин использовали контрацепцию с эффективностью 70—80% в различных местах республики<sup>16</sup>. Но общий коэффициент беременностей на 100 человек населения был выше 5,5% в год<sup>17</sup> — то есть близко к биологическому пределу для человеческих попу-

ляций. Около 90% женщин имели аборты в течение одного года<sup>18</sup> и от 6—7% до 15—16% имели повторные аборты в течение одного календарного года<sup>19</sup>. Поскольку более 2,5 абортов нужно для предотвращения одного рождения в течение 2,25 календарных лет, то есть 1,1 аборта нужно в течение одного календарного года, и 1,0 аборт в год реально приходился на женщину в год согласно выше цитированным данным, можно заключить, что действительный индекс контрацепции в РСФСР был около нуля.

Если мы перейдем к Средней Азии, мы читаем, что в 1970-е годы среди городских женщин-узбечек с высшим образованием около 25% использовали контрацепцию, но в течение 10 лет брака средняя женщина в группе имела 4 детей и 3,3 искусственных абортов<sup>20</sup>. Это точно так же означает, что индекс контрацепции — примерно ноль.

Таким образом, фактически в СССР меньше половины женщин, использующих противозачаточные средства, используют их а) регулярно и б) правильно. Нерегулярность удваивает число потерпевших провал при использовании (т. е., статистически, половинит число реальных пользователей). Неправильное использование делает то же (т. е. половинит реальную эффективность). Подчеркнем простой, но исключительно важный пункт: то, что происходит, означает, что какой бы метод контрацепции не использовался женщинами и мужчинами в СССР (презервативы, химические составы, диафрагмы и спирали, таблетки, прерванное сношение, и т. д.), он используется не сам по себе по своим собственным правилам, а в комбинации с методом биологического ритма, сведенного к самой примитивной и неэффективной форме: календарному методу. Рискованные дни, когда возможно зачатие, грубо прикинуты женщинами, и в эти дни контрацеп-

ция используется, а в остальные дни менструального цикла никакие противозачаточные методы и средства не используются вообще. Такова повсеместная практика, и люди просто не знают элементарного: это не работает. Или, скажем так: люди знают (потому что в итоге делают много абортов), но не знают, как быть. В стране, делающей спутники и даже компьютеры, никто не объяснит десяткам миллионов женщин элементарные начала их биологии. В итоге женщины отданы абортарию. Но объяснить — означало бы пропагандировать мальтузианство, и вот старинный незаконченный спор XIX века между двумя английскими экономистами (Мальтусом и Марксом) сводит свои счеты на судьбах нескольких поколений России и Восточной Европы.

Понятно, что различные советские статистические данные о процентном составе тех или иных методов контрацепции в общем индексе использования и эффективности, поскольку в них не внесены поправки на их спорадическое применение, должны быть попросту отброшены. Все эти данные просто не отражают реального положения вещей, не потому, что советские авторы искажают положение, а потому что они сами не отдают себе отчета, что происходит вокруг. В итоге в СССР окончательный индекс контрацепции (произведение пропорции использующих на теоретическую эффективность, на регулярность и на правильность использования) представляет чрезвычайно низкую величину. Степень провала при использовании исключительно велика, с последующим универсальным прибегающим к искусственным абортам.

Этот результат неосведомленности и провала является вполне естественным для антимальтузианской системы контроля рождаемости по требованию: люди не могут иметь спрос на знание о про-



дукте (в данном случае, на знание о знании как таковом, о знании о контрацепции), когда они не знают, что такое специальное знание может существовать. Люди не отдают себе отчета, что использование контрацепции требует знания и умения, и поэтому не запрашивают сведений о таком знании, хотя сведения могли бы быть доступны (через библиотеки, женские консультации, и т. д.). Получается заколдованный круг, из которого могла бы вывести только частная промышленность с ее активной рекламой и пропагандой.

Отсутствие самого понятия о реальной контрацепции в СССР стало фактором чрезвычайного размаха дифференциальной рождаемости, очень низкой в России и западных республиках, очень высокой в Средней Азии. Индекс контрацепции практически равен нулю в Средней Азии, тогда как у европейских национальностей СССР патологическое вторичное бесплодие, вызванное куреточными абортами и нелегальными абортами, отрезало абсолютное большинство женщин в возрасте старше 35 лет от выполнения репродуктивных функций.

Если подвергнуть кусочки сообщаемых официально данных изложенной выше математической обработке, становится ясно, что в последние годы аборты распространились даже среди среднеазиатских женщин, но источники недооценивают их размах. Это, по-видимому, происходит из-за распространения нелегальных абортов в СССР, что вызвано отчасти скудностью медицинских учреждений и приспособлений, отчасти низким качеством легальных абортов, отчасти желанием женщин хранить аборты в тайне. Последняя из этих причин может быть особенно важной для молодых среднеазиатских женщин. В Ташкентской области нелегальные аборты составляли 48,5% всех искусственных абор-

тов в 1955 году и 51,9% в 1973 году, тогда как общее число абортотв увеличилось за этот период в 1,5 раза<sup>21</sup>. В целом по СССР, согласно источникам, которые невозможно проверить математическими операциями, искусственные аборты, прерывавшие первую беременность, состояли на 70% из нелегальных абортов в городах и на 90% в сельских местностях даже в последние годы<sup>22</sup>.

По мере роста контроля рождаемости в СССР, применение контрацепции увеличивается незначительно, число абортов растет с ускорением, и значительно увеличивается процент нелегальных абортов. В 1960-е годы в РСФСР нелегальные аборты составляли 16% всех искусственных абортов<sup>23</sup>, а в 1970-е годы процент нелегальных абортов колебался от 18% до 79,2% всех абортов в разных местностях России<sup>24</sup>.

Соответственно, основная часть официальных статистических сведений об искусственных абортах как по СССР в целом, так и в местном разрезе, должна быть попросту отброшена, до тех пор пока вопрос о пропорции нелегальных абортов не будет прояснен. Поскольку такое прояснение невозможно ни в какой стране, а колебание от 20% до 80% означает размах от минимума до максимума (например, если говорится, что в СССР приходится 1 аборт на одно живорождение, это, при разных колебаниях пропорции нелегальных абортов, может означать от 2,5 до 10 абортов на женщину), пользование официальной статистикой по этому вопросу невозможно и бесполезно.

Независимая математическая обработка остальных, более надежных переменных (рождаемости, брачности, естественной рождаемости, индекса контрацепции) должна заменить пользование советскими данными. Модель, принятая в настоящей ра-

боте, приведена выше, а результаты независимых расчетов приведены в таблице.

В самой консервативной серии расчетов, отношение числа искусственных абортс к числу живорождений в 1970-е годы составляло 0,137 у таджичек, 0,201 у узбечек, 1,220 у эстонок, 1,404 у латышек, 2,481 у украинок и 3,206 у русских; среднее отношение для СССР было 2,044. Суммарный коэффициент искусственных абортс (число абортс на женщину синтетической когорты за ее плодсвитый период) составлял 1,076 у таджичек, 1,486 у узбечек, 1,920 у туркменок, 3,033 у казашек, 4,083 у азербайджанок, 4,273 у грузинок, 5,195 у армянск, 2,759 у эстонок, 3,021 у латышек, 3,518 у литовок, 5,056 у белорусок, 5,118 у украинок, 5,950 у русских, 4,903 в среднем по СССР.

Получается, что единственный показатель конвергенции между европейскими и азиатскими этническими группами СССР — это размах искусственных абортс и повышенного вторичного бесплодия (величины равны у латышек и казашек).

## 5

Как отмечено выше, в системе антималятузианской демографической политики биологический ритм в примитивной форме календарного метода является основой всех остальных интегрированных методов контрацепции. В случаях провала противозачаточных мер, огромная вероятность чего тоже показана выше, нежелаемые зачатия в конце концов происходят, но с перезрелыми сперматозоидами, сохраняющимися в матке в течение 3—4—5—6 дней. Это, в свою очередь, обуславливает увеличение пропорции выкидышей (спонтанных абортс)

по меньшей мере на 25% и, главное, приводит к колоссальному увеличению коэффициента хромосомных аномалий, особенно психической неполноценности, у сохраняющихся и живорожденных детей<sup>25</sup>.

Недавние советские исследования по генетике человека нашли увеличение в СССР рождений с наследственными хромосомными аномалиями первого и второго поколений, например на Украине<sup>26</sup>. В дополнение к росту пропорции психически неполноценных детей, этот фактор привел к росту детской смертности, особенно младенческой и перинатальной смертности, так как 53% детей с врожденными хромосомными аномалиями погибают на первом году жизни<sup>27</sup>.

Можно заключить, что марксизм как идеология, воплощенная государством в демографическую политику, наносит существенный генетический вред человеческой расе. Вызванное марксистской демографической политикой биологическое вырождение человека имеет особенно сильное влияние среди популяций с низкой рождаемостью, высокой пропорцией использующих контрацепцию, но с низкой пропорцией регулярности и правильного эффективного использования. Это, как видно по таблице, прежде всего славянские нации СССР, для которых марксизм представляет в настоящее время биологическую катастрофу.

## 6

Из-за увеличения пропорции хромосомных аномалий в связи с ущербной системой контрацепции — увеличивается количество плодов с трисомией, что ведет, конечно, к увеличению коэффициента спонтанных абортов (выкидышей). Это, в свою оче-

редь, увеличивает вероятность патологического вторичного бесплодия, или, точнее сказать, вероятность патологической вторичной неэффективной плодоспособности: то есть, те женщины, которые не являются вторично стерильными и способны зачать, не могут довести беременность до благополучного конца — рождения живого плода, — выкидывают мертвые плоды. Это явление ослабляет женский организм и еще больше увеличивает вероятность последующих выкидышей. Этим сокращаются интервалы между зачатиями, растет число зачатий и, соответственно, число спонтанных и искусственных абортов. Еще один заколдованный круг марксистской системы контроля рождаемости по требованию (по спросу), и еще один фактор сокращения человеческого репродуктивного потенциала.

Кроме того, повторные искусственные аборты также увеличивают вероятность последующих выкидышей. В сумме этих явлений сверхнормальный коэффициент спонтанных абортов становится серьезной проблемой для советских популяций, особенно для славянских национальностей с их высоким суммарным коэффициентом искусственных абортов и повышенного вторичного бесплодия. По параметрам, установленным Миндель Шепс, здоровые популяции имеют коэффициент спонтанных абортов вокруг средней общечеловеческой нормы 23,7% всех зачатий, тогда как больные популяции имеют этот коэффициент до 35% и выше, вплоть до 50%<sup>2 8</sup>. По совокупности приведенных выше данных, практически все советские нации, кроме, до поры до времени, среднеазиатских, надо отнести к категории больных популяций. Особенно выделяются в этом отношении славянские нации.

Уникальный аспект такого отнесения заключается в том, что обычно нездоровые популяции с высо-

ким процентом гибели недоношенных плодов — это бедные популяции стран третьего мира, популяции с голодным питанием, эпидемиями, высокой общей смертностью, долгим грудным кормлением, отсутствием медицины и элементарной санитарии, популяции, живущие в диких и варварских условиях полупервобытной экономической недоразвитости. Сейчас из-за марксистской системы контроля рождаемости по требованию, в этот же ряд встают популяции индустриально высокоразвитых стран, гордящихся своей общественной медициной, победой над эпидемическими болезнями, и т. д.

Математической модели для расчета пропорции спонтанных абортс у советских популяций нам пока разработать не удалось. Четкие данные для СССР в целом и по национальностям совершенно отсутствуют в медицинской литературе. Имеется, однако, небольшая публикация по Ленинградской области, на основе чего возможны приблизительные оценки<sup>29</sup>. По приводящейся статистике исходов беременности можно рассчитать, что только официально зарегистрированные в больницах спонтанные аборты (выкидыши), при найденном нами для русского населения отношении искусственных абортс к живорождениям, составляли 22,79% беременностей в конце 1960-х годов<sup>30</sup>. Используемый источник подчеркивает, что регистрация спонтанных абортс далеко не полна<sup>31</sup>. Это понятно, так как в больницы обращаются в основном женщины с осложнениями после выкидышей, и таким образом значительная часть статистики выкидышей остается неизвестной медицинским учреждениям. Следовательно, если допустить, что недоучет выкидышей даже не выше, чем недоучет искусственных абортс (что, конечно, минимальное допущение), коэффициент выкидышей достигнет примерно 34%

беременностей. На самом деле он, несомненно, выше. Видно, что в отношении гибели плодов СССР в целом и РСФСР в особенности — одна из самых больных популяций современного мира.

7

Советские исследования сообщают, что чрезмерная работа женщин и их занятость на тяжелых и вредных работах добавляют к сверхнормальному уровню первичного и вторичного бесплодия. Установлено, что повышенный коэффициент первичного бесплодия характерен для женщин, занятых тяжелым физическим и ручным трудом, для женщин, работающих в химической промышленности и на неквалифицированных работах. Повышенный коэффициент вторичного бесплодия характерен для женщин, работающих вручную на производстве и обработке металлических изделий, в деревообрабатывающей и лесной промышленности, на строительстве и в текстильной промышленности<sup>32</sup>. Сведения о национальном распределении женщин по уровню занятости в различных видах промышленности отсутствуют, но общая статистика позволяет выяснить, что в 1974—75 годах пропорции женщин в возрастах от 16 до 54 лет, занятых в тяжелой промышленности, в строительстве, на транспорте, в лесной промышленности, были следующими по республикам: 13,3% в Таджикской ССР, 14,4% в Туркменской ССР, 14,7% в Азербайджанской ССР, 15,1% в Узбекской ССР, 16,9% в Грузинской ССР, 23,9% в Казахской ССР, 29,5% в Украинской ССР, 30,3% в Белорусской ССР, 31,8% в Литовской ССР, 36,0% в РСФСР, 38,3% в Латвийской и Эстонской ССР<sup>33</sup>.

Этнические различия были более сильными между европейскими и азиатскими популяциями, чем видно из статистики по республикам, так как большинство женщин, занятых в перечисленных отраслях в Средней Азии, это русские, украинки, и т. д. Общая тенденция в СССР идет в направлении еще большей женской занятости на тяжелых и вредных работах. Тогда как мужчины переключаются на более механизированные профессии, женщины заменяют их как физические рабочие. С 1972 по 1975 год число ручных лесорубов-мужчин снизилось, а число женщин соответственно увеличилось. В январе 1981 года правительство запретило занимать женщин в 460 тяжелых и вредных профессиях, но в СССР проведение такого закона занимает больше 10 лет. Закон, запретивший занимать женщин в шахтах, был принят в 1957 году, но не был проведен в жизнь вплоть до 1977 года<sup>34</sup>.

Советские исследования показывают, что занятость при полном рабочем дне женщин (а это 99,6% работы женщин в СССР<sup>35</sup>) на станках на советских заводах является важной причиной повышенного коэффициента выкидышей; что работа в стоячей позе в текстильной промышленности увеличивает шанс дисменореи; что количество лет, проработанных в горячих цехах, прямо пропорционально проценту гибели недоношенных плодов; что работа в химической промышленности удваивает пропорцию рождений детей с хромосомными аномалиями; что работа на советском транспорте и в других отраслях, связанных с вибрацией, увеличивает пропорцию выкидышей и недоношенности новорожденных<sup>36</sup>. Опять же отметим, что значительное число славянских и прибалтийских женщин занято в этих отраслях.



В системе контроля рождаемости по требованию, официальная пропаганда и медицинские работники пытаются препятствовать эпидемии искусственных абортов, но провалы контрацепции, чрезмерная женская вовлеченность в общественный труд, изменившийся статус женщин в обществе, изменившаяся общественная роль семьи как институции побуждают к искусственным абортam. Колоссальные коэффициенты абортов на среднюю женщину отмечены выше. В данной системе, учреждения для производства абортов неадекватны и недостаточны и в количественном, и в качественном отношениях. В СССР, соответственно демографической политике, имеется больше гинекологических коек на 1000 женщин плодovитого возраста в районах высокой рождаемости и низкого числа абортов, чем в районах низкой рождаемости и высокого числа абортов. В 1974—75 годах на 10 000 женщин в возрасте 15—49 лет было 64,12 гинекологических коек в Узбекской ССР и 57,38 гинекологических коек в РСФСР<sup>37</sup>, хотя, как отмечено выше, число абортов на женщину в год в 2,5 раза больше, чем число родов. Если принять, что женщина проводит 3 дня в больнице при операции искусственного аборта, из приведенных данных можно рассчитать, что в РСФСР в середине 1970-х годов необходимо было иметь 305 000 больничных коек для делавших аборты женщин. В это время имелось только 213 000 гинекологических коек для всех больных: для рожениц, для абортировавших, для поступивших с осложнениями, для поступивших с различными гинекологическими болезнями, и т. д.<sup>38</sup>

Соответственно, больницы в РСФСР имели примерно половину необходимых помещений, коек,

медицинских услуг, оборудования и т. п. для принятия родов, производства аборт, лечения гинекологических осложнений и болезней. Жалобы на недостаток коек и оборудования — одна из главных официально сообщаемых причин распространения нелегальных абортов<sup>39</sup>.

В описываемой системе контроля рождаемости по требованию, современные методы производства искусственных абортов, которые фактически безвредны для дальнейшего деторождения и которые применяются в США, Канаде, Западной Европе, Австралии, Японии и других цивилизованных странах, практически не используются в марксистских государствах. Как отмечено выше, даже в Венгрии и Польше, где культура обслуживания населения значительно выше, чем в СССР, абсолютное большинство искусственных абортов (97% в Венгрии в 1975 году) делалось выскабливанием полости матки кюреткой. В советских медицинских изданиях очень редко упоминается современный метод отсасывания плода, безвредный в плане последующего вторичного бесплодия; абсолютное большинство абортов, очевидно, производится кюреткой<sup>40</sup>. СССР, судя по всему, вообще сам не производит современной техники отсасывания плода, а покупает ее в Японии за валюту, как сообщила недавно делегация Комитета советских женщин, посетившая Гуверовский Институт в Калифорнии. Эта импортированная техника установлена, по-видимому, в нескольких больницах, либо для привилегированных слоев населения (они тоже безграмотны в области контрацепции), либо для научно-исследовательских разработок. Мы приняли в наших расчетах, что 85% абортов делается в СССР выскабливанием кюреткой, что дает нам самые минимальные показатели патологического вторичного бесплодия, возможные рас-

считать для данных условий. На самом деле показатели должны быть выше.

9

Индекс патологического вторичного бесплодия, приводимый в таблице по этническим популяциям СССР, показывает среднестатистическую пропорцию женщин во всем плодовитом периоде 15—49 лет, которая вторично бесплодна сверх стандартных норм вторичного бесплодия и гибели плодов. Это среднестатистическая пропорция для всех возрастных групп плодовитого цикла, интегрально рассчитанная для всех женщин. Это означает, что показатель определяет процент вторично бесплодных в среднем для всех женщин плодовитых возрастов, независимо от того, сделали ли они уже или еще не сделали среднее количество аборт, характерное для данной популяции. Иначе говоря, этот индекс показывает процент женщин, выключенных из репродуктивного процесса пре фактум. Единица минус найденный индекс показывает репродуктивный потенциал данной советской этнической популяции, тогда как репродуктивный потенциал других популяций, не практикующих марксистскую систему контроля рождаемости, равен 100% или ненамного ниже.

Поясним еще раз значение индекса. Популяция, которая повсеместно использует контрацепцию для ограничения числа детей до 2 на женщину, и которая в отдельных случаях прибегает к искусственным абортам методом отсасывания плода, имеет индекс повышенного вторичного бесплодия, равный нулю, и репродуктивный потенциал, равный единице. Таково, например, население Англии и Уэльса,

приближается к этому население Нидерландов, близко население Японии. Популяция, которая не умеет использовать контрацепцию (индекс контрацепции 0,2), имеет 2 детей на женщину, прибегает к искусственным абортam для контроля рождаемости и делает 85% абортov кюреткой, плюс занимает женщин на тяжелых и вредных работах и не победила венерические болезни, эта популяция имеет в среднем 5 искусственных абортov за плодovитую жизнь женщины и имеет 0,17 (или 17%) индекс патологического вторичного бесплодия. Это означает, что у данной популяции (мы взяли сведения о белорусах) в каждый данный момент времени (здесь: в 1970-е и 1980-е годы) в среднем 17% женщин патологически бесплодно (сверх биологической пропорции вторичного бесплодия) и только 83% женщин плодovитых возрастов плодоспособны. Это означает, что в условиях низкой рождаемости, недостаточной для простого воспроизводства живущих поколений, у этой популяции патологически отрезана шестая часть ее репродуктивного потенциала. Не будь она отрезана, эта популяция могла бы рассчитывать на сохранение своего населения в данном (стационарном) количестве. Теперь же она будет постепенно уменьшаться, то есть, в конечном счете, вымирать.

В приводимой таблице показаны рассчитанные индексы патологического вторичного бесплодия для различных этнических популяций СССР: 20,7% у русских, 18,6% у молдаван, 17,8% у армян, 17,4% у украинцев, 17,2% у белорусов, 13,6% у азербайджанцев, 9,7% у латышей, 9,7% у казахов, 8,8% у эстонцев, 5,9% у киргизов, 4,5% у узбеков, 3,2% у таджиков. Соответственно, человеческий репродуктивный потенциал был в 1970-е годы 96,8% у таджиков, 95,5% у узбеков, 94,3% у туркмен, 94,1% у

киргизов, 91,2% у эстонцев, 90,3% у казахов и у латышей, 88,5% у литовцев, 82,8% у белорусов, 82,6% у украинцев, 82,2% у армян и 79,3% у русских.

Человеческую биологию русских можно сравнить с полем, меньше чем на четырех пятых которого может что-то расти. Для того, чтобы изменить такое положение у русских и у других народов СССР, нужна была бы принципиальная замена искусственных абортов современной, правильно и регулярно используемой контрацепцией, с переводом сохраняющихся абортов на современные безвредные методы, и с уменьшением загруженности женщин в социалистическом производстве. Ничего в этом плане никогда не делалось, не делается, и не видно ни единого признака, что когда-либо будет делаться.

Интересно, что не только марксистское правительство, но и разнообразные течения оппозиции практически не уделяли внимания этим проблемам. Единственное известное нам исключение — призыв А. И. Солженицына вывести женщин с тяжелых физических работ. Формальное законодательство, наконец принятое в 1981 году по этому вопросу, пока не дало видимых результатов, и может и не дать, так как в советских условиях сами женщины не могут позволить себе оставить тяжелые и вредные, но относительно выше оплачиваемые виды труда.

Для оздоровления популяции по-настоящему потребовалось бы другое государство, с другой экономической системой и с другой, противоположной марксизму, идеологией.

В свое время Маркс в „Капитале” сформулировал то, что впоследствии было названо социалистическим законом народонаселения: гармоническое соответствие между экономическим ростом и ростом населения. Сейчас никто в мире всерьез не рассматривает эту теорию, и даже в СССР ее в послед-

РОЖДАЕМОСТЬ И КОНТРОЛЬ РОЖДАЕМОСТИ У СОВЕТСКИХ

Национальность	Годы	Суммарный коэффициент рождаемости	Средний индекс брачности	Кумулятив. брачная рождаемость	Использующие контрацепцию	Регулярность использования
Русские	1958/59	2.522	0.571	4.417	0.600	0.250
Русские	1965/66	2.040	0.571	3.573	0.750	0.333
Русские	1975/76 - 1979/80	1.856	0.571	3.250	0.760	0.500
Украинцы	1969/70 - 1979/80	2.063	0.594	3.473	0.790	0.667
Белорусы	1969/70 - 1979/80	2.107	0.575	3.664	0.750	0.667
Литовцы	1969/70 - 1979/80	2.301	0.539	4.269	0.800	0.875
Латыши	1969/70 - 1979/80	2.152	0.516	4.171	0.800	1.000
Эстонцы	1969/70 - 1979/80	2.261	0.504	4.486	0.800	1.000
Молдаване	1969/70 - 1979/80	2.743	0.601	4.564	0.600	0.500
Грузины	1969/70 - 1979/80	2.437	0.563	4.329	0.760	0.725
Армяне	1969/70 - 1979/80	2.898	0.625	4.637	0.700	0.500
Узбеки	1969/70 - 1979/80	7.381	0.804	9.180	0.200	0.625
Таджики	1969/70 - 1979/80	7.866	0.832	9.454	0.160	0.625
Казахи	1969/70 - 1979/80	5.298	0.689	7.689	0.500	0.500
Азербайджанцы	1969/70 - 1979/80	4.677	0.696	6.720	0.500	0.500
Киргизы	1969/70 - 1979/80	6.858	0.779	8.804	0.333	0.600
Туркмены	1969/70 - 1979/80	7.228	0.808	8.946	0.250	0.600
СССР	1969/70 - 1979/80	2.399	0.570	4.209	0.725	0.610

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП, 1958/59, 1965/66, 1969/70 – 1979/80.

Эффектив. исполь- зуемых методов	Правильность использования	Индекс контрацепции	Пропорция беспл. из-за аборт. мортал.	Индекс патологич. вторичн. бесплодия	Суммарн. коэф- фициент абортов	Рождения, предотвращен.		Спонтан. аборты (выкидыши)	Все беремен. и прад- отвращ. рождения	Число абортов к числу рождений
						Вторичн. бесплодием	Контра- цепцией			
0.750	0.200	0.023	0.228	0.214	6.115	1.662	0.428	2.683	13.410	2.425
0.800	0.300	0.060	0.240	0.225	6.412	1.861	1.167	2.625	14.105	3.143
0.825	0.400	0.125	0.221	0.207	5.950	1.554	2.409	2.425	14.194	3.206
0.825	0.485	0.210	0.186	0.174	5.118	1.081	3.773	2.231	14.266	2.481
0.825	0.460	0.190	0.184	0.172	5.056	1.054	3.262	2.225	13.704	2.400
0.825	0.515	0.298	0.123	0.115	3.518	0.458	3.973	1.807	12.057	1.529
0.825	0.535	0.352	0.104	0.097	3.021	0.327	4.392	1.607	11.499	1.404
0.825	0.545	0.360	0.094	0.088	2.759	0.266	4.128	1.559	10.973	1.220
0.825	0.425	0.105	0.199	0.186	5.420	1.247	1.742	2.536	13.688	1.976
0.825	0.485	0.220	0.152	0.143	4.273	0.714	3.230	2.084	12.738	1.753
0.825	0.485	0.140	0.190	0.178	5.195	1.123	2.310	2.514	14.040	1.793
0.825	0.485	0.050	0.048	0.045	1.486	0.071	0.180	2.754	11.872	0.201
0.825	0.485	0.040	0.035	0.032	1.076	0.036	0.101	2.778	11.857	0.137
0.825	0.450	0.093	0.104	0.097	3.033	0.328	0.761	2.588	12.008	0.572
0.825	0.485	0.100	0.145	0.136	4.083	0.642	1.167	2.721	13.290	0.875
0.825	0.485	0.080	0.063	0.059	1.920	0.121	0.393	2.727	12.019	0.280
0.825	0.485	0.060	0.061	0.057	1.843	0.112	0.275	2.818	12.276	0.255
0.825	0.450	0.164	1.178	0.167	4.903	0.980	2.613	2.268	13.163	2.044

ние годы стесняются упоминать. Общепринято теперь, что никаких отдельных законов населения для отдельных экономических систем не существует, а есть единая для всех демографическая транзикация от высокой к низкой рождаемости. В настоящей работе мы пытались показать, что демографические транзикации бывают разные у разных экономических систем, и имеется особая демографическая транзикация у государств марксистского социализма.

Может быть, Маркс не так уж неправ. Может быть, существует особый закон народонаселения для популяций, живущих в условиях марксистского социализма. Мы бы сформулировали его так: транзикация от высокой к низкой рождаемости происходит в условиях движения населения через три историко-демографические стадии — истребление, вырождение, вымирание.

#### ИСТОЧНИКИ:

1. John F. B e s e m e r e s. Population Politics in the USSR. — Soviet Union, vol. 2, No. 2, (1975), pp. 127, 129.

2. Louis H e n r y. Some Data on Natural Fertility. — Eugenics Quarterly, vol. 8, No. 2 (June 1961), pp. 83—87.

3. Kingsley D a v i s. The Theory of Change and Response in Modern Demographic History. — Population Index, vol. 29 (November 1963), pp. 345—366. Kingsley D a v i s. The Effect of Outmigration on Regions of Origin. — Internal Migration: A Comparative Perspective. Ed. by A. Brown and E. Neuberger. (New York, 1976), pp. 150—151.

4. A. H e i t l i n g e r. Women and State Socialism: Sex Inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia (Toronto: University of Toronto Press, 1979). Henry P. D a v i d, Robert J. M c I n t y r e. Reproductive Behavior. Central and Eastern European Experience. (New York: Springer Publishing Co., 1981), p. 96.

5. В. И. Л е н и н. ПСС, т. 23, сс. 255, 257.

6. J. A. R o s s, A. G e r m a i n, J. E. F o r r e s t, J. van G i n n e k e n. Findings from Family Planning Research. — Re-



ports on Population/Family Planning, No. 12 (October 1972), p. 36. D a v i d. Op. cit., pp. 39–41. Kathleen F o r d. Abortion and Family Building: Fertility Limitation in Hungary and Japan. PhD Diss. (Brown University, 1976). Christopher T i e t z e, John B o n g a a r t s. The Demographic Effect of Induced Abortion. — *Obstetrical and Gynecological Survey*, vol. 31, No. 10 (1976), pp. 699–709. C. T i e t z e, Anrudh K. J a i n. The Mathematics of Repeat Abortion: Explaining the Increase. — *Studies in Family Planning*, vol. 9, No. 12 (1978), pp. 294–299. Christopher T i e t z e. Induced Abortion: 1979. Third. Ed. (New York: the Population Council, 1979).

7. Henry P. D a v i d. Abortion and Family Planning in the Soviet Union: Public Policy and Private Behavior. — *Journal of Biosocial Science*, vol. 6, No. 4 (October 1974), pp. 417–426. Helen D e s f o s s e s. Pro-Natalism in Soviet Law and Propaganda. — *Soviet Population Policy: Conflicts and Constraints* (New York: Pergamon Press, 1981), pp. 96–103.

8. „Правда”, 8 января 1953.

9. D a v i d, M c I n t y r e. Op. cit., pp. 96, 98.

10. Ibid, p. 99.

11. Frederick E n g e l s. The Origin of the Family, Private Property, and the State. (New York: Pathfinder Press, 1972), pp. 81–82.

12. James W. B r a c k e t t, R. T. R e v e n h o l t, John C. C h a o. The Role of Family Planning in Recent Rapid Fertility Declines in Developing Countries. — *Studies in Family Planning*, vol. 9, No. 12 (1978), pp. 319–323. M. V a e s s e n. Knowledge of Contraceptives: An Assessment of World Fertility Survey Data Collection Procedures. — *Population Studies*, vol. 35, No. 3 (1981), pp. 357–373. Robert L i g h t b o u r n e, Susheela S i n g h, Cynthia P. G r e e n. The World Fertility Survey: Charting Global Childbearing. — *Population Bulletin*, vol. 37, No. 1 (March 1982), pp. 30–39.

13. А. И. А н т о н о в. Социология рождаемости. М., 1980, сс. 129–131.

14. Ш. Ш л и н д м а н, П. З в и д р и н ь ш. Изучение рождаемости. По материалам специального исследования в Латвийской ССР. М., 1973, сс. 134–135.

15. Там же, сс. 144–146. D a v i d. Abortion and Family Planning, pp. 420–421.

16. D a v i d, M c I n t y r e. Op. cit., pp. 108–109. Karl-Heinz M e h l a n. Abortion in Eastern Europe. — *Abortion in a Changing World*. Ed. by Robert E. Hall. (New York: Columbia

University Press, 1970), vol. 1, p. 313. О. Е. Чернецкий. Организация работы по снижению абортов. — СЗ, 1961, № 6, с. 21. И. Каткова. Особенности демографического поведения семей в первые годы брака. — Молодая семья. М., 1977, сс. 84—95. СЗ. 1972, № 5, с. 17; 1973, № 5, с. 22; 1976, № 12, с. 17. Здравоохранение Российской Федерации (далее ЗРФ), 1971, № 2, сс. 23—24; 1972, № 6, с. 27; 1980, № 9, сс. 29—30. См. сводку данных в: Richard Johnson. Abortion in the Soviet Union, Radio Free Europe/Radio Liberty. — Radio Liberty Research Bulletin. No. 25 (June 1982), pp. 8—9; and Ellen Jones, Fred W. Group. Value Change and Political Stability in the Soviet Multinational State. Defense Intelligence Agency and the CIA. Unpublished Paper. (1982), p. 24.

17. Н. С. Соклова. Статистический анализ исходов беременности. ЗРФ. 1970, № 3, с. 39.

18. 93% в Латвии. См. David. Abortion and Family Planning, pp. 420—421.

19. Е. А. Садвокасова. Некоторые социально-гигиенические аспекты изучения аборта. — СЗ, 1963, № 3, с. 47. Е. А. Садвокасова. Социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи. М., 1969, с. 149. Соклова. Ук. соч., с. 40.

20. И. Каткова, А. Маматохунова. Некоторые аспекты формирования современных многодетных семей. — Демографическая ситуация в СССР. М., 1976, сс. 84—85.

21. А. А. Попов. Медико-демографические и социально-гигиенические причины и факторы искусственного аборта. — ЗРФ, 1980, № 9, с. 28

22. Там же.

23. Е. А. Садвокасова. Роль аборта в осуществлении сознательного материнства в СССР. — Изучение воспроизводства населения. М., 1968, сс. 220—221. Лехтер. Ук. соч., с. 23.

24. Попов. Ук. соч., с. 28.

25. J. T. Lanman. Delays During Reproduction and Their Effects on the Embryo and Fetus. — The New England Journal of Medicine, vol. 278 (1968), pp. 993—999, 1047—1054. R. Guerro, O. I. Rojas. Spontaneous Abortion and Aging of Human Ova and Spermatozoa. — Ibid, vol. 293 (1975), pp. 573—575. D. Schwartz, P. D. MacDonald, V. Heuchel. Fecundability, Coital Frequency and the Viability of Ova. — Population Studies, vol. 34, No. 2 (1980), p. 400. Eva Alberman, M. R. Creasy. Factors Affecting Chromosome Abnormalities

in Human Conceptions. — Chromosome Variation in Human Evolution. Ed. by A. J. Boyce. (London, 1975), p. 83. R. L. Butcher, N. W. Fugo. Delayed Ovulation and Chromosome Anomalies. — Fertility and Sterility, vol. 18 (1967), p. 297. C. Iffy, M. B. Wingate. Risks of Rhythm Method of Birth Control. — Journal of Reproductive Medicine, vol. 5 (1970), p. 96. R. Guerro. Possible Effects of the Periodic Abstinence Method. — Proceedings of a Research Conference on Natural Family Planning. (Washington, D. C.: Human Life Foundation, 1973), p. 96.

26. Л. А. Чиркова. Генетика и селекция на Украине. К., 1971, т. 2, сс. 125—126.

27. А. Ф. Тур, Е. Ф. Давиденкова. — Справочник по клинической генетике. М., 1970, с. 90. Воспроизводство населения и трудовых ресурсов. Под ред. Н. П. Федоренко. М., 1976, сс. 65—67.

28. Mindel C. Shers. Pregnancy Wastage as a Factor in the Analysis of Fertility Data. — Demography, vol. 1 (1964), pp. 111—118.

29. Соколова. Ук. соч., сс. 38—40.

30. Рассчитано по: там же, с. 39 и по приводимой в нашей статье таблице.

31. Там же, с. 38.

32. Шлиндман, Звидриньш. Ук. соч., сс. 92, 96—97. Демографическая политика: Осуществление и совершенствование в условиях развитого социализма. К., 1982, сс. 134, 160—167.

33. Рассчитано по: Женщины в СССР. Статистический сборник. М., 1975, с. 36—37 и по: Jones, Group. Op. cit., table 6.

34. Г. И. Литвинова. Право и демографические процессы в СССР. М., 1981, с. 94.

35. Л. Кулешова, Т. Скальберг. Режим неполного рабочего времени. — „Вопросы экономики”. М., 1979, № 6, с. 134.

36. Демографическая политика, с. 161—165.

37. Рассчитано по: Женщины в СССР, с. 125 и „Вестник статистики”. М., 1974, № 7, с. 92. См. также: U. S. Department of Commerce. Bureau of the Census. Godfrey S. Baldwin. Population Projections by Age and Sex: For the Republics and Major Economic Regions of the USSR. 1970 to 2000. (Washington, D. C., 1979), pp. 92, 117.

38. Рассчитано по тем же источникам.

39. С а д в о к а с о в а. Роль аборта, сс. 220—221.

40. Л е х т е р. Ук. соч., с. 25. J o h n s o n. Op. cit., pp. 11—12, 14—16.

Автор приносит большую благодарность своему ассистенту Питеру Рудольфу Мефферту за помощь в предварительных расчетах, проверявших работу выработанных методов, и Кингсли Дэйвису за постоянные и исключительно ценные научные консультации. Разумеется, ответственность за выраженные в статье взгляды и результаты лежит всецело на авторе.

## На берегах Сены-Леты

Начну издалека и с очень личного. Мне даже как-то неловко признаться, что с Ириной Одоевцевой, автором книги воспоминаний „На берегах Сены”, я знаком с очень-очень давних времен, примерно шестьдесят лет. Когда-то я довольно часто встречался с ней и ее мужем, Георгием Ивановым, затем наступали периоды, когда наши встречи становились крайне редкими или их и вовсе не было. Тем не менее, наши отношения всегда оставались дружескими и даже удивительно, что за такой долгий срок никакой „черной кошки” между нами никогда не пробежало.

Я отчетливо помню появление Одоевцевой в „инфляционном”, проваливавшемся в тартарары Берлине начала двадцатых годов. Помню, как ошарашило литературную братию появление этой по тогдашним временам элегантной молодой женщины, с зеленоватыми, „как персидская больная бирюза”, глазами и огромным черным бантом в волосах да еще в ореоле „Двора чудес”, ее первого яркого и очень „своего” стихотворного сборника. Все в ней тогда представлялось праздничным и привлекательной была даже ее картавость.

Мы быстро, как это может происходить только в молодые годы, подружились, и я не раз навещал ее, когда она поселилась у одной из своих „светских” подруг в квартире, казавшейся мне, по быстро

---

Ирина Одоевцева. На берегах Сены. La Presse Libre, Paris, 1983.

усвоенным эмигрантским понятиям, необычайно роскошной. Сейчас, сквозь дымку лет, припоминаю, как по ее настоянию я сопровождал ее в долгую поездку по подземной дороге („У-Бану“) за покупкой какой-то кроликовой шубки, операции, представлявшейся мне — полному профану в меховых делах — столь же сложной и ответственной, как если бы разговор шел о приобретении собольего палантина. Помню еще, как я водил ее вместе с Николаем Оцупом, игравшим роль „рыцаря верно-го“, на пьяную вечеринку, происходившую в поднебесном ателье одного известного художника. В тот вечер Одоевцева могла познакомиться с Маяковским и Пастернаком, но, кажется, эта встреча прошла для нее бесследно.

Как бы там ни было, столь продолжительное знакомство обязывает и о многом напоминает еще потому, что я знавал и большинство тех, чьи зарисовки составляют одоевцевскую книгу. Естественно, что я приступил к ее чтению почти с волнением.

Будучи и в прошлом усердным ее читателем, я был мало поражен тем, что она мысленно живет как бы в двух сосуществующих планах: одновременно в прошлом, некоем залетейском мире и в то же время в настоящем, который копошится перед ее окнами. Она вглядывается в него, однако не хочет примириться с ним, не хочет признать, что годы ушли и какие-то страницы перевернуты и невозвратимы. Может быть, именно поэтому ей и хочется рисовать „героев“ своих воспоминаний не совсем такими, какими они были, но оживленными и расцвеченными ее воображением.

Одоевцева едва ли отдает себе отчет в том, что Мнемозина — богиня памяти — богиня лукавая. Ее подсказки часто делаются с „подвохом“. Она заставляет приукрашать прошлое, чуть его стилизо-

вать, чтобы в описаниях этого прошлого была сохранена его яркость и „наперченность” и была избегнута нудная бытовая подоплека.

А ведь правда — если бы воспоминания в точности воспроизводили пережитое, то они, несомненно, показались бы читателю скучными и знакомиться с ними у него не было бы большой охоты. Зато прилагательное „скучный”, в любой его форме, меньше всего приложимо к „Берегам Сены” да и вообще ко всему одоевцевскому творчеству. Со свойственным ей динамизмом и трогательной просьбой полюбить тех, о ком она пишет, и этим „подарить им временное бессмертие”, она намеренно опускает все то, что могло бы привести читателя в смущение или вызвать у него зевок.

Нет спора, в ее „силуэтах” в основу всех деталей положены реалии, но, вместе с тем, какая-то черточка, какой-то штришок, который не всякий читатель подметит, диктуются ей природным беллетристическим талантом.

Погрешности, о которых можно было бы ради так называемой „объективности” упомянуть, могут показаться придирками. Не в них дело. Основная оплошность Одоевцевой в том, что она все свои беседы с маститыми представителями русского зарубежного литературного Олимпа, происходившие, как с глазу на глаз, так и при многочисленных свидетелях, стремится передать прямой речью. А ведь не зря же литературно-целомудренная и строгая к себе Ахматова писала, что „самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что из мемуаров с легкостью переключивается в почтенные литературоведческие работы и биографии, а человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак”.

Между тем в каждой главе своей книги Одоевцева пытается создать впечатление непрерывности своего повествования, его дословности. Но ведь, да не посетует она на меня, даже если бы при встречах с тем или иным из своих „героев” она могла вести стенографические записи, то и тогда диалоги едва ли могли принять столь отточенную форму, как на страницах ее книги.

Какие-то мелочи заставляют насторожиться. Для примера: автору „Берегов Сены” не приходит в голову, что в полупьяном и сбивчивом разговоре, который вел с ней Есенин, он никак не мог прибегать к латинским изречениям, хотя бы самым избитым. А ведь Одоевцева воспроизводит этот разговор в первом лице.

А вот в длинную главу, в которой Одоевцева вспоминает одновременное пребывание с Буниным в одном из „Домов отдыха” на Лазурном берегу и в которую вставляет множество ценных для его биографии деталей, она включает и „макаберную” новеллу, по ее словам, задуманную им для его „Темных аллей” и невзначай рассказанную во время прогулки. От привычной бунинской поэтики эта демоническая новелла довольно далека и кладбищенская обстановка, служащая для нее фоном, тем более для Бунина неожиданна, что у него был патологический страх перед кладбищами и недаром он избегал ходить на похороны. Он не решился даже пойти на похороны собственной матери, хотя трогательно ее любил и до конца своих дней не переставал вспоминать. Получилась некая аналогия с „Уединенным домиком на Васильевском”, повести, которой Пушкин занимал общество и которую присутствующий при этом „архивный юноша” Титов записал с пушкинских слов. Якобы Пушкин одобрил титовскую запись, которая и появилась в „Се-



верных цветах” за подписью Тита Космокротова и иные редактора сочинений Пушкина включают ее петитом в издаваемое ими собрание, но все же у пушкинистов эта повесть до сих пор вызывает споры. Между тем, приписанную Бунину на страницах „Берегов Сены” повесть едва ли какой-нибудь будущий бунинолог решится включить в новое издание „Темных аллей”.

Мне кажется несколько странным заявление Одоевцевой, что, мол, Бунин не переносил возражений. Он, конечно, не был спорщиком в прямом смысле, особенно если были затронуты отвлеченные проблемы, но, кажется, в его доме не обходилось ни одной трапезы, за которой не шли бы бесконечные диспуты, порой принимавшие грозный характер. Не поручусь, что иногда он спорил только потому, что ему казалось „неприличным” быть одного мнения с человеком, ему как-то досадившим.

Конечно, рассказ о визитных карточках с припиской „академик” (даже, как от кого-то слышала Одоевцева, „бессмертный”, что для русского уха вообще звучало бы невозможно) — милая шутка в духе Тэффи, хотя бы потому, что едва ли у Бунина визитные карточки водились, разве что пришлось ему заказать их в Стокгольме! Впрочем, это не мешало ему озаглавить один из рассказов сборника „Темные аллеи” — „Визитные карточки”. Вероятно, отсюда и пошел этот анекдот. Ведь званием академика Бунин мог прихвастнуть только в дружеском кругу да и то с подчас иронической усмешкой.

Поразила меня в главе о Бунине фраза, говорящая, что „аполлоновцы возмущались, когда такая квалифицированная типография, как 'Голике', отпечатала бунинский 'Листопад' ”. Начать с того, что „Голике” (вернее, „Голике и Вильборг”) была знаменитой петербургской типографией, а не изда-

тельством, а в задачу типографии никогда не входило определение литературной ценности набираемой рукописи, кроме того, как ни парадоксально, но „Листопад” был издан московским символистским издательством „Скорпион”, руководимым Валерием Брюсовым.

Ирина Одоевцева — верная поклонница четы Мережковских, постоянная посетительница их воскресных „чаев” — некоего „парад-алле” молодых и менее молодых поэтов, и она не скрывает, что, будь она членом нобелевского жюри, премия досталась бы не Бунину. Однако — каким бестактным оказывается в ее описании Мережковский, среди чаепития и в присутствии посторонних не в шутку, а по-серьезному предложивший находившемуся у него в гостях Бунину разделить шкуру неубитого медведя, то есть, заключить пакт о разделе нобелевской премии. „Если она достанется мне, я вам отдаю половину, если вам — вы мне. Поделим ее пополам”. Так этот инцидент передает Одоевцева. Да и Бунин не раз с нескрываемым возмущением рассказывал об этом предложении, но мыслимо ли поверить, что оно было сделано за чайным столом? Отмечу попутно, что едва ли Зинаида Гиппиус могла называть Бунина в лицо „Иваном”. Чего-чего, а амигошества Бунин не терпел.

Вероятно, лучше всего и наиболее рельефно описаны в книге встречи с Адамовичем. С ним Одоевцеву, действительно, связывали не только долгие годы дружбы, но еще то, что оба они, хоть в разном разрезе, в молодости впитали тот единственный литературный воздух „умирающего Петрополя”, который образовался в первые голодные послеоктябрьские годы. Однако их принадлежность к гумилевскому „Цеху поэтов” отражалась в них по-разному. Адамович быстро отошел от „цехового”

влияния, Одоевцева долго не переставала быть „ученицей” Гумилева и хранила культ трагически погибшего поэта. Но эта связанность полумифическим Петербургом была всегда крепче всего того, что в последующей жизни могло их друг от друга отдалять. Адамович всегда с оттенком нежности говорил об Одоевцевой, неизменно именуя ее „Мадам”, и не нужно было спрашивать, кого он имел в виду.

Но и в чуть сентиментальной главе, посвященной Адамовичу, Одоевцева не может удержаться от некоторых прикрас и поэтизирования. Если она упоминает тетку Адамовича, то не просто тетку, а „тетку-миллионершу”, а ее вилла в Болье сразу превращается в „дворец”. Но нагляднее всего одоевцевская литературность просвечивает в рассказе о какой-то поистине дьявольской карточной игре в нэповском Петербурге, решиться на которую заставил ее двоюродный брат во имя спасения от расстрела своего друга, растратившего казенные деньги. Под пером Одоевцевой василеостровский карточный притон превращается в некую квартиру Чекалинского, а сама игра описана так, как „фараон” описан в „Пиковой даме”; не считается она с тем, что современные азартные игры в значительной мере отличаются от тех, в которые в пух и прах проигрывался сам Пушкин.

Одоевцевой непременно хочется, чтобы к ее мужу, Георгию Иванову, была приклеена этикетка „первого поэта эмиграции”, точно для получения такого титула существовало высокое жюри, наподобие тех, которые создаются для избрания „мисс” того-то или того-то. Мало того, она стремится изобразить его, несмотря на прозаическое звучание его фамилии, как отпрыска какого-то необычайно аристократического рода — конечно, по материнской линии, якобы ведущей свое начало от каких-то гол-

ландских (даже не фламандских!) крестоносцев, невзирая на то, что ученые-геральдисты едва могут проследить около двух десятков семейств во всей Западной Европе, генеалогическое древо которых восходит столь далеко.

Однако наибольший заскок памяти ощутим у Одоевцевой в главе, посвященной Марине Цветаевой, с которой она почти знакома не была, для встреч у них не было общей почвы. Между тем, Одоевцева, какие-то факты неумышленно перепутав, рассказывает о „предотъездной” встрече с Цветаевой в квартире поэтической четы Гингеров. Но ведь известно, что Цветаева уезжала почти втихомолку, никому прощальных „визитов” не делая, да вообще какие-либо „визиты” были не в ее характере, особенно, когда она могла натолкнуться на скопище чуждых ей людей. А ни с Гингером, ни с его женой Присмановой, двумя талантливыми и своеобразными поэтами, она, к сожалению, не была близка. Они были для нее людьми чужими, и это тем более обидно, что зная подлинную а не внешнюю доброту Присмановой и предельную услужливость Гингера, можно быть уверенным в том, что более близкое знакомство с ними могло быть для Цветаевой — в ее горьком одиночестве — хотя бы житейски весьма „полезно”.

Но уж такова Одоевцева — она искренно верит в то, что ей хочется, что по логике вещей, действительно, могло бы быть, и в этой черте, может быть, и таится доля ее литературного „шарма”. Даже скудный эмигрантский бал, по ее же признанию оказавшийся „мелкотравчатым”, с Эренбургом и забытым старым поэтом Минским в качестве приманок, она заранее считала неким событием и, чтобы просиять на нем, тщательно подготавливала „парчевые бальные туфельки и белое шелковое платье с боль-

шим вырезом”. Как будто и мне довелось присутствовать на этом самом балу (сохранились фотографии, заснятые на нем) и потому я хорошо понимаю ее слова, что на поверку на нем было „все не то и не так”. Ее парчевые туфельки не могли быть оценены и оттого ей представляется, что вечера в голодном преднэповском году в колонных залах черно-мраморного зубовского особняка на Исаакиевской площади были и оживленнее, и веселее, и главное — „великодержавнее”, сохраняя какое-то трагическое величие.

А всякое „величие”, даже бальное, ей неизменно льстило, ей его всегда недоставало и потому — как трогательно она рассказывает, как, впервые приехав с отцом в Париж, они поселились „в огромном мрачном отеле без лифта”, и она готова верить, что безлифтный отель был одним из лучших отелей французской столицы! Может быть, это завидная черта — куда бы она ни попадала, все было лучшим, наиболее элегантным, наиболее изысканным.

А ведь ее жизнь была периодами очень невеселой и шла резкими зигзагами, от внешнего благополучия порой скатывалась почти в трагическую, безнадежно-серую повседневность. Но и это не препятствовало тому, что она сохраняла свой оптимизм, свою врожденную жизнерадостность. В самые тяжелые свои минуты, „во сне и наяву”, по ее терминологии, она всегда жила с наслаждением, и это спасительное чувство не раз прорывается даже в описаниях ее встреч с иными зарубежными литературными „знаменитостями”, потому что в любом из ее „силуэтов” так или иначе просвечивает ее собственный — и это всецело оправдывает все заключенные в книге мелкие „погрешности”, которые никак не ослабляют удельного веса книги.

От отсутствия зеркальности в ее передачах, может быть, они только выигрывают, потому что основное достоинство „Берегов Сены” в их пенистости. Одоевцева „взбивает” свои фразы, как взбивают пузыри в бокале шампанского. Пусть, отходя от протокольных записей, она, того не замечая, часто отходит от хронологии, иные факты сглаживает, расцветчивает и облагораживает. Ведь, действительно, к чему напоминать о прозе жизни, о каких-то бытовых неувязках? Сама она как-то уронила, что „жизнь прошла, а молодость длится” и эта молодость, претворяющаяся в крылатость ее книги воспоминаний, придает ей особый аромат, а одоевцевская фраза, пугающаяся слишком длинных периодов, полная междометий и восклицательных знаков, только вносит в нее новое измерение.

Одоевцева писала свои „Берега”, собственно, для себя, для своего удовольствия, а не для воображаемых потомков, которые способны будут обратиться к ее книге, как к историческому источнику, и цитировать ее в ученых трактатах.

Когда-то, тому, вероятно, лет двадцать, она сама себе ставила вопрос:

„Можно ли еще писать стихи  
Всерьез?...”

и тут же отвечала на него изданием нового стихотворного сборника. Может быть, теперь наедине с собой она ставила себе параллельный вопрос: можно ли писать книгу воспоминаний „всерьез”, то есть — ничего не присочиняя, так, чтобы пережитое отражалось в нем без отклонений... Но тут непрошенно вмешивается богиня памяти и подталкивает руку пишущего, который едва ли замечает, что хроника событий, помыслов, переживаний, впечатлений, знакомств и хотя бы шапочных встреч постепенно превращается в беллетристику.

Книга Одоевцевой как-никак — отличная и талантливая книга, задорная, свежая и, главное, доброжелательная. Я захопнул ее на последней странице, прочтя ее не отрываясь, и как-то невольно вспомнились мне знаменитые строки Гийома Аполлинера „*Sous le pont Mirabeau*” — „Под мостом Мирабо течет Сена/И я вспоминаю былые дни и плачу...”. Одоевцева работала над полировкой своей книги неподалеку от этого моста, но она не плакала, а улыбалась. Впрочем, улыбка эта была сквозь слезы, потому что течет Сена безостановочно, но, вероятно, и она где-то — где, мы не знаем, — втекает в Лету.

*Александр Бахрах*

## **О библиографии века и биографии души**

На желтой обложке этой книги, выпущенной парижским Институтом славистики в серии „Русские писатели во Франции”, под сухим и лаконичным заголовком „Борис Зайцев. Библиография”, в строгой рамочке — как будто в горенке тесной! — уютно расположилась билибинская гравюра: неторопливой вычурной глаголицей выводит древний летописец повесть о деяниях века своего, правдивую повесть

---

\* *Bibliographie des oeuvres de Boris Zaitsev. Etablié par le prof. René Guerra. Introduction de Wladimir Weidle. Institut Slave. Ecrivains russes en France. Paris, 1982.*

Статья получена нами из Самиздата. — Р е д.

на память и в поучение потомкам. А над ним, над куполами да башенками храма, сияют пресветлые звезды, и жадные чудовища, чьи оскаленные пасти обрамляют гравюру, не в силах — а уж как хочется им, как хочется! — проглотить нелицемерного очевидца.

Повесть о деяниях века своего... Не слишком ли высокопарно звучит? Но если бы тот, чье имя стоит на обложке, прожил на девять лет больше, нежели ему было отмерено, он смог бы отпраздновать свой столетний юбилей и взять в руки книгу, которая — точь-в-точь как древняя летопись — повествует о его деяниях, о деяниях верного сына своего века и своей родины!

К сожалению, Борис Константинович Зайцев, последний из крупных представителей серебряного века русской культуры, уже не сможет увидеть отражение души своей, своего творчества, в тщательно отшлифованном библиографическом зеркале. Не сможет поблагодарить своего друга, доктора Рене Герра, энтузиазму и трудолюбию которого эта книга обязана своим появлением на свет. Воздать по заслугам представителю должны живые, те, для кого многострадальная русская литература этой эпохи не пустое место.

Можно употребить эпитет многострадальная, насколько не опасаясь впасть в преувеличение: всякий, кто хоть сколько-нибудь серьезно интересовался этим предметом, полагаю, потратил вполне достаточно сил, времени и средств, чтобы согласиться с этим определением без долгих споров. Одно обстоятельство, впрочем, следует оговорить особо: отсутствие хороших библиографий, и в особенности персоналий, губительно сказывается на изучении русской литературы серебряного века. Настоящее издание тем более ценно, что оно восполняет этот



пробел в отношении писателя, безусловно, значительного, ценность творчества которого не подлежит ни малейшему сомнению. Выполнена библиография очень добротна, и хотя составитель во вступительных замечаниях заявляет, что она не претендует на полноту, автор настоящей рецензии, пользуясь теми справочниками, которые были у него под рукой (а было их, надо заметить, не так уж мало), не смог обнаружить никаких ошибок и пробелов даже в тех случаях, когда дело касалось труднодоступной для составителя области — дореволюционной периодики. Настоящая работа своим профессионализмом выгодно контрастирует с некоторыми библиографическими справочниками, появившимися в последнее время...

Возвращаясь к рецензируемому изданию, хотелось бы все же задать составителю один вопрос: почему в эту работу не вошла отдельным разделом библиография литературы о Зайцеве? Она занимает около двух страниц петита в известном указателе под редакцией Муратовой, охватывающем, главным образом, дореволюционный период. А ведь и после 1917 года о Зайцеве (в основном, конечно, эмигрантская критика) писали и написали наверняка не меньше. К тому же следует заметить, что за творчеством Зайцева следили такие корифеи, как Ю. Айхенвальд, причем еще в ту пору, когда он считался явно начинающим автором. Так что весь этот материал вряд ли возможно счесть не заслуживающим внимания.

Раздел собственно библиографический предваряют две статьи: небольшая — „Памяти Б. Зайцева”, принадлежащая перу В. Вейдле и переведенная составителем на французский, и объемистая — „Б. Зайцев, или скитания русской души”, написанная Рене Герра, в которой подробно анализируется

творческий путь писателя со времени его первой публикации (рассказ „В пути”, газета „Курьер” от 28 июня 1901 г.) вплоть до его поздних произведений. Нельзя не согласиться с Р. Герра, который, говоря об эволюции творчества Б. Зайцева, приходит к выводу о ее гармоничности, естественности, неустанно подчеркивая и доказывая многочисленными фактами особую благородную бескомпромиссность, свойственную Б. Зайцеву как писателю и как человеку. Высокий авторитет, которым он в течение всей своей долгой жизни пользовался в профессиональной среде, отнюдь не случаен, ибо зиждился именно на этом основании. Писать о благородстве, о совести, о верности своей душе и своей родине ныне в литературоведческой среде считается не модным, почти неприличным. А между тем без этих категорий говорить о русской литературе вообще — и в особенности о литературе, созданной русскими писателями-изгнанниками, — попросту невозможно. Зайцев был действительно из тех, кто воспринял изгнание как миссию, как долг, и не поддался ни на какие соблазны, а, видит Бог, этих соблазнов хватало и хватает по сегодняшний день с лихвой.

Букинистические магазины по всему Советскому Союзу охотно покупают два дореволюционных собрания сочинений Б. Зайцева, равно как и берлинское, покупают и, соответственно, продают. И по немалой цене, согласно каталогу-прейскуранту и особым справочникам, где оная цена проставлена черным по белому. А вот о переиздании этих произведений, не говоря уже об издании вещей, написанных в эмиграции, — ни слуху, ни духу с 1925 года. А ведь издают же эмигрантов, помаленьку, но издают: Тэффи, Шмелева, Северянина. Издали даже Ремизова. Искалечив „Подстриженными глазами”, но издали. А Зайцев вот подвержен остракизму. А

почему, собственно? Может, поможет то обстоятельство, что родился он в Орле, где чуть не треть крупных и великих писателей родилась? Может, Орел вывезет?

Хочется верить, что Б. К. Зайцева оценят наконец по достоинству и на его родине, для которой он жил и работал, и что мы доживем до этого дня.

*Влад. Сава*

## О «Бронзовом веке»

С термином „Бронзовый век” что-то не в порядке. На лестнице деградирующих веков бронзового нет: за серебряным идет, как известно, медный, за медным — железный: *De duro est ultima ferro* (Овидий). Бронзовый век отдает какой-то археологией, антикварным магазином, но больше того — спортом: золотая медаль Пушкину, серебряная Блоку, бронзовая — авторам термина. Следующим, видимо, „бумажным” — поколениям остаются почетные дипломы. Оставив в стороне термин — положение нашего „века”, каким металлом его не награди, драматично. Многие назовут его трагичным и даже пост-трагичным. Веком бесформенного эпигонства, эклектического повторения задов разных ярко оформленных времен, от символизма до обериутства (и даже иронически переработанного XVIII века), веком невозможности новизны, веком отсутствия большой задачи или великой творческой причины. Эрзац-искусством, выросшим на тщательно опустошенной почве антикультурной, антиэстетической официальной художественной продукции. Веком отсутствия века — ибо, чтобы создать художественный „век”, поэтическое время должно содержать в себе нечто уловимо новое, объединяющее своих авторов в контраст их „отцам” и „дедам”. Это уловимо новое, кроме того, должно выдержать суд всей предшествующей традиции — даже для того, чтобы удостоиться довольно скромной бронзы.

---

Материал получен из Самиздата. — Р е д.

И вот, во-первых, выдерживает ли такой суд наше поэтическое время? И, во-вторых, суд какой традиции?

Начну со второго. Традиция русской поэзии оборвана на 30-х, а может, и на 20-х годах. Если сравнить стихи А. Тарковского, написанные в 70-х годах, с „Воронежскими тетрадами” — очевидно, по счету *внутреннего времени* более поздними окажутся „Тетради”. А это еще исторические стихи, стихи одушевленные и принадлежащие поэзии, — такие вещи, как Долматовский, вообще нелепо размещать *до* или *после* Державина, Хлебникова, Блока, они просто *вне* всего этого.

Долго после обрыва продолжал Пастернак, продолжала Ахматова. И грех сказать, будто они топтались на месте. И все же их творчество стало их личным делом — точнее, их и их читателей, но не литературы. Бывает в судьбе художника такая эпоха, когда его вдохновение побудительно, его интонация и метафора, его словарь и темы не вмещаются в нем одном — и вызывают к жизни более бледные, но по своему прекрасные подобию его дара — „подражателей”, и яркие выпады в другую сторону у „сопротивляющихся” (так, мне кажется, с подачи Пастернака развилась контрастная ему поздняя манера Мандельштама). Такого рода двойкой влиятельности и лишены были поздние достижения Пастернака и Ахматовой (что никак не должно умалять их ценности). Их молодые преемники не могли воспринять ни „неслыханной простоты”, ни неслыханной недосказанности, которые понятны и привлекательны только в конце пути.

Бродский сделал то, что делали лидеры пресловутых „золотого” и „серебряного” веков: обернулся к иноязычной поэзии — как всегда в России, с известным запаздыванием. Ведь в 60-е годы у нас но-

востью были Элиот, Валери, Рильке — и вся переоценка ценностей, вся медиевизация вкуса, перестройка лирики с эмоционального лада на интеллектуальный, с импрессионистического на метафизический, филологический, религиозный. Вся перестройка, которую Европа пережила и успела, кажется, забыть. В каком виде эта новизна явилась в Бродском? По-моему, в довольно мутном. Для метафизической и неоклассицистической поэзии у него слабые нервы, плох слог (неряшливость его языка не скрашивается изощренной строфикой), слишком много элегического романтизма в ранних стихах и цинической трезвости в поздних. Впрочем, он один из „бронзового века” говорит как власть имеющий. Другое дело, нравится ли то, что он говорит. А говорит он, в общем, о давно известном разочаровании сильной личности, о гордом и не гордом одиночестве, о суете сует на месте земли и пустых небесах — и за метафизическими образами просвечивает нечто гейнеобразное. Я не собираюсь давать отчет в отношении к каждому представителю „бронзового века” и говорю о Бродском как о последней *влиятельной* фигуре (в том смысле, о котором шла речь)\*, умалчивая о гораздо более драгоценном для меня опыте Елены Шварц, о ее вдохновенной

---

\* Относительно разрастающегося на наших глазах авангардизма нигилистического толка — концептуализма — умнее говорить не о „влиятельности”, а об „инфекционности”. Можно допустить, что концептуализмом, или нечеловечеством, как раньше это называли, заразятся почти все сочинители, и мы станем зрителями и участниками разыгранной в литературе монументально увеличенной картины „Бобка” Достоевского. Но — увы — в этой картине не будет ничего нового. По второму разу глумиться над одним предметом — и глумиться свежо, оригинально и содержательно — выше человеческих сил и потребностей. Тут судьбы нигилизма и удачной шутки совпадают. В остальном они расходятся.

одиноким лирике. Только в ней, может быть, и видим мы ясный дух, говорящий на ясном языке. Почти никаких других оснований в современной поэзии для перехода к „положительной” части ответа у меня нет.

Итак, новым окажется то, чего не было (а представьте себе, *чего* только не было!) — и значимым отсутствием чего полно все предшествующее движение традиции. Есть ли такое новое? Может ли оно быть? И на фоне „опустошения”, „распада” и подобных явлений, как говорят, широко распространенных и „современных”? Это вопрос не только о реальности настоящего и возможности будущего, но и об осмысленности прошлого — ибо где венчающий его аккорд, в котором все разрешилось, „после которого” мы живем? Я такого аккорда не знаю и чувствую, что русская „преодолевшая символизм” поэзия была оборвана на самом увлекательном месте, на близком подходе к „изумительно позднему цветению культуры”, к глубочайшему одухотворению слова — возобновлена (что ни говори, Бродским), на несколько этажей ниже. Что то великое продолжение (ожидаемое и непредсказуемое, как всякое истинное продолжение), которое было бы прозрачно для „идеальной поэзии”, столь редкой в реальных стихах и лучших поэтов, обеспечено освобождением и осмыслением поэтического языка в „серебряном веке”\*. Что это будет поэзия *смыслов* — более неочевидных и более необходимых и более утешающих — в полном смысле сло-

---

\* Я сознательно не выхожу из внутрилитературной области и потому не говорю о том, о чем нужно бы говорить в первую очередь, что значимей для поэзии, чем имманентные законы ее развития, о ее предназначении. О необыкновенной степени ответственности, которой наше время требует от всех, и от поэтов не в последнюю очередь.

ва, чем те, которые смогли выразить „золотые” и „серебряные” стихи.

Но возможно это — по многим причинам — только чудом. Так что — да будет с нами чудо.



## Владимир Солоухин в Цюрихе

В начале прошлого лета, по приглашению русского факультета при Женевском университете, Владимир Алексеевич Солоухин посетил Швейцарию и выступил с докладами в Женеве, Фрибурге и Цюрихе.

Переговоры о приезде писателя в Швейцарию длились несколько лет. Студенты местных русских факультетов уже было потеряли надежду увидеть писателя, когда, в самом начале мая, стало известно, что приезд Владимира Солоухина назначен на 18-е число. Но в назначенный день Владимир Алексеевич не приехал, и по всей Швейцарии начали ходить слухи о том, что его приезд был отменен в связи с недавним решением швейцарских властей о высылке из Берна местного представительства советского агентства „Новости”. Однако, как впоследствии стало известно, задержка с выездом Солоухина была связана со смертью его друга, писателя Федора Абрамова. В день 18 мая Солоухин ездил на похороны писателя в Архангельскую область. (Между прочим, говорят; что когда друзья Абрамова несли гроб через деревню на кладбище, ни один местный житель не перекрестился, как положено по русскому обычаю.)

Владимир Солоухин произвел немалое впечатление на студентов. Высокого роста, плотный, с круглым улыбающимся „володимирским” лицом, он держал себя с достоинством, говорил просто и вызывал к себе симпатию.

Выступления его прошли успешно и вызвали подлинный интерес слушателей как к творчеству само-

го автора „Черных Досок”, так и к творчеству русских писателей-„деревенщиков”, которым и было в основном посвящено выступление в Цюрихе, 2 июня 1983 года, в зале славянского факультета.

По мнению Солоухина, ни Кольцов, ни Бунин („Деревня”) не могут считаться настоящими „деревенщиками”. (Почему „деревенщик”? Как уместно отметил сам Солоухин, окончание „щик” в русском языке носит несколько презрительный и отталкивающий оттенок: „денщик”, „ямщик”, „гробовщик”...) Можно с этим мнением согласиться, но нельзя упускать из виду, что в России прежде говорили о „крестьянских” поэтах и писателях. К ним, несомненно, принадлежит и Николай Клюев, который в свое время был сослан за „кулацко-религиозные уклоны”. Но о клюевском понимании деревни Солоухин предпочел не высказываться. Не упомянул он и нашего поэта Никитина.

Считая Валентина Распутина одним из лучших современных русских писателей, Солоухин выделил также имена писателей Залыгина (за его книгу „На Иртыше”) и Яшина (за „Рычаги”). Солоухин рассказал, как Яшин, получив сталинскую премию, вернулся в свою деревню и ужаснулся царившему там голоду. Для него, вологодца, это было ударом и потрясением. После этих переживаний и появились „Рычаги”. Напомнив еще, что за „Вологодскую свадьбу” на писателя градом посыпались все шишки, Солоухин добавил, что перед смертью (он умер от рака) Яшин просил знаменитого профессора медицины Блохина продлить ему жизнь „на три недели”, чтобы успеть закончить начатую повесть.

Были названы также Солоухиным имена писателей Василия Белова (ученика Яшина), Тендрякова, Дороша, Шукшина, Федора Абрамова.

Говоря о себе, Солоухин сказал, что считает себя больше поэтом, чем прозаиком. (В одном из своих рассказов он уже подчеркивал: „Я поэт, а вынужден заниматься прозой... Я недосчитываю несколько стихотворений. Выходит, проза их задушила и они не появились на свет. Делается страшно от необратимости происшедшего, от того, что никогда уже не узнаю, что задохнулось и погибло во мне под тяжелыми плитами проклятой прозы”.)

В конце лекции Солоухин прочитал три своих произведения — „Здравствуйте”, „Ястреб” и „Жанна Д’Арк” — без пафоса, с глубокой душевностью и увлекающей простотой.

„Я вне закона, ястреб гордый,  
Вверху кружу.  
На ваши поднятые морды  
Я вниз гляжу.

...

Меня поставив вне закона,  
Вы не учли:  
Сильнее вашего закона  
Закон Земли”.

Поэзия и проза Солоухина аполитичны, как и творчество всех тех русских авторов, которых иногда на Западе относят к „промежуточной литературе” — ни советской, ни диссидентской. И действительно, ни Солоухин, ни Распутин, ни другие талантливые русские современные авторы не затрагивают ни диссидентскую тематику, ни официальную советскую. В их творчестве нет ни прославления советской власти, ни открытого обличения советского режима. Так что же это — бегство от „советской реальности”, как утверждают некоторые критики?

Можно ли считать „бегством” боль за Россию и за русское крестьянство Валентина Распутина, чей талант освещен непоколебимой верой в оздоровительную силу христианства? Можно ли считать „бегством” от советской реальности боль Солоухина за русские традиции, за памятники русской культуры, за церкви и иконы?

Это не „промежуточная литература”, а просто литература. Просто — современная русская литература, способная возвыситься до проблем времени. Для Солоухина и для всех упомянутых им авторов основная проблема России сегодня — это трагедия русской деревни, ее опустение и опустошение, разорение крестьянского быта и православных традиций, огрубение и одичание самой нации. А это сегодня и есть *основная* „советская реальность”, от которой русская литература не только не „бежит”, а наоборот, начинает ей уделять все больше и больше внимания.

В настоящей русской литературе сегодня нет ни унижения, ни пресмыкания. Нет почти и прямой лжи. Но нет еще и подлинной *откровенности*, которая дает литературе ее нравственную силу.

Хотелось бы видеть наших авторов на том уровне откровенности, на котором, например, стоит польский режиссер Вайда. Но у нас, вероятно, еще не наступила пора открытой солидарности русской интеллигенции с народом.

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

с № 127 по № 130

## ПРОЗА

**МАРКИШ Давид**

Шут, или хроника из жизни прохожих людей. Главы из романа, 127

## ПОЭЗИЯ

**ВОГАК Ростислав**

Одиннадцать стихотворений из цикла „Из стихотворений 1977—82 годов”: Мне кажется порой, что я живу... и др., 129

**КУБЛАНОВСКИЙ Юрий**

Памяти Беломорья. Стихи, 127

**РАТУШИНСКАЯ Ирина**

Десять стихотворений: Где ты, княже мой... и др., 129

## ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

**КУБЛАНОВСКИЙ Юрий**

Ферапонтово. Этюд, 128

## ИСТОРИЯ

**ПУШКАРЕВ С. Г.**

О свободе и самоуправлении в России.  
Часть 2, 127

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

**АВТОРХАНОВ А.**

Мемуары. Из главы 3 и 10, 127

**ГУЧКОВ А. И.**

Письмо ген. Д. В. Филатьеву, 130

**ДЕНИКИН А. И., ген.**

Письма генерала А. И. Деникина. Часть I.  
(1922—1934), 128

**ЛУЧАНИНОВ Сергей**

Из воспоминаний офицера лейб-гвардии  
Петроградского полка, 130

**РУТЫЧ Н.**

К опубликованию воспоминаний депутата  
Государственной Думы Н. В. Савича, 127

К опубликованию писем генерала

А. И. Деникина, 128

Февраль 1917, 130

**САВИЧ Н. В.**

Воспоминания. Часть I. Государственная  
Дума, 127

Воспоминания. Часть II. Государственная  
Дума накануне и во время войны, 129

Воспоминания. Часть III. Февраль, 130

**СТОЛЫПИН Аркадий**

В Елагинском дворце, 129

**ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС А. В.**

Из воспоминаний о 1917 году, 130

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**БАХРАХ Александр**

Л. Брик и В. Маяковский. (По памяти, по  
записям), 128

**ОПУЛЬСКИЙ Альберт**

Николай Семенович Лесков, 130

**ШНЕЕРСОН Мария**

„Правило последних вершков” (О романе  
А. Солженицына „В круге первом”), 129

#### ПУБЛИЦИСТИКА

**АНДРЕЕВ Герман**

Учение Льва Толстого о государстве и противостоя-  
нии государственному злу в свете сегодняшнего  
опыта, 128

**БЕРНШТАМ М. С.**

Марксизм и контроль рождаемости в СССР, 130

**БОНДАРЕНКО В.**

Размышления о послебольшевистской  
России, 129

**ГОЛОВСКОЙ Валерий**

Об одном киноэпизоде в жизни

В. В. Шульгина, 128

**ПОСПЕЛОВСКИЙ Д.**

Некоторые вопросы отношений Церкви, государства и общества в дореволюционной России, 128

### БИБЛИОГРАФИЯ

Bibliographie des oeuvres de Boris Zaitsev. — Institut Slave, Paris, 1982. (Влад. Сава), 130, с. 269

**Кузнецов Эдуард**

Русский роман. — Изд. „Москва — Иерусалим”, 1982. (Ф. Закаржевская), 127, с. 300

Народное сопротивление коммунизму в России. Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 — январь 1919. Документы и материалы. Редактор-составитель и автор комментариев М. С. Бернштам. — „Исследования новейшей русской истории”, Т. 3. „УМСА-Press”, Париж, 1982. (Н. Росс), 129, с. 257

**Одоевцева Ирина**

На берегах Сены. — „La Presse Libre”, Paris, 1983. (Александр Бахрах), 130, с. 259

**Орлов Александр**

Тайная история сталинских преступлений. —

Изд. „Время и мы”, 1983. (Н. Петров), 128, с. 274

**Feshbach Murray**

The Soviet Union: Population Trends and Dilemmas. — Population Bulletin, Vol. 37 (No. 3, August 1982), pp. 1—44. (Д. Поспеловский), 129, с. 248

**ГРОССЕН Мирослав**

Владимир Солоухин в Цюрихе, 130

**СЕДАКОВА Ольга**

„О Бронзовом веке”, 130

### УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

**Авторханов А.**, 127

**Андреев Герман**, 128

**Маркиш Давид**, 127

**Опульский Альберт**, 130

Бахрах Александр, 128, 130  
Бернштам М. С., 130  
Бондаренко В., 129

Вогак Ростислав, 129

Головской Валерий, 128  
Гроссен Мирослав, 130  
Гучков А. И., 130

Деникин А. И., ген., 128

Закаржевская Ф., 127

Кублановский Юрий, 127, 128

Лучанинов Сергей, 130

Петров Н., 128  
Поспеловский Д., 128, 129  
Пушкарев С. Г., 127

Ратушинская Ирина, 129  
Росс Н., 129  
Рутыч Н., 127, 128, 130

Сава Влад., 130  
Савич Н. В., 127, 129, 130  
Седакова Ольга, 130  
Столыпин Аркадий, 129

Тыркова-Вильямс А. В., 130

Шнеерсон Мария, 129

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тематический указатель охватывает только те материалы, которые посвящены творчеству, мировоззрению или жизнеописанию людей.

Брик Л., 128, с. 134

Деникин А. И., 128, с. 5

Зайцев Б., 130, с. 269

Лесков Н. С., 130, с. 175

Маяковский В., 128, с. 134

Одоевцева Ирина, 130, с. 259

Орлов Александр, 128  
с. 274

Солженицын А., 129, с. 18  
Солоухин Владимир, 130  
с. 279

Столыпин П. А., 127, с. 179;  
129, с. 50

Толстой Л., 128, с. 215

Шульгин В. В., 128, с. 262



## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

*Издательство „Посев” искренне благодарит Р. Н. Редлиха и Н. Рутыча за работу по выпуску в течение двух лет журнала „Грани” (№№ 124—130), редактирование которого они приняли на себя после ухода по состоянию здоровья с редакторского поста Н. Б. Тарасовой.*

*Особенно следует отметить появление в этот период в журнале ценнейших исторических материалов, касающихся гражданской войны и Думского периода. Это — заслуга Н. Рутыча, не только затратившего много труда, но и правильно оценившего тот интерес, который есть у новых поколений в России к восстановлению исторической памяти.*

*С 1984 года (с № 131) редактирование журнала „Грани” передается недавно выехавшему из Москвы Г. Н. Владимову, писательское имя которого не нуждается в рекомендациях. Издательство с радостью приняло согласие Г. Н. Владимова занять пост главного редактора, так как такая преемственность подтверждает многолетнюю связь журнала с Родиной.*

*Издательство уверено, что традиционная линия журнала — журнал для России — сохранится и впредь.*

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

По техническим причинам в № 129 „Граней” на стр. 113  
вкрались следующие опечатки:

<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
9-я строка сверху законБЫроект	законопроект
8-я строка снизу сбаланслЮвано	сбалансировано

Редактирует редакционная коллегия  
Главный редактор Р. Н. Редлих  
Заместитель главного редактора Н. Рутыч  
Ответственный секретарь Д. Мусина

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt a. M. 80

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

## *Дорогие читатели!*

*Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».*

*Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.*

*Мы обращаемся к нашим читателям в России:*

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

*Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:*

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

*Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:*

**А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag»  
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

**К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:**

- Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

*Редакция*

# Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:  
в издательстве — 56 н. м.  
через магазины — 70 н. м.

## ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:  
в издательстве — 72 н. м.  
через посредников — 84 н. м.

## «НАДЕЖДА»

**Христианское чтение**

За 3 выпуска при подписке:  
непосредственно в издательстве — 60 н. м.  
через представителей — 72 н. м.

**СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:**  
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.  
НАДЕЖДА“ — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

**POSSEV-VERLAG**  
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15  
или же банковским переводом на  
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main  
или на почтовый счет  
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.